**Кукла Барби**

Спи, дитя моё, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я к тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Колыбельная.

Чпок. Чпок. Чпок. Чпок. Трррр.
Чпок. Чпок. Чпок. Чпок. Трррр.

Игра «шарики в ряд».

**ГЛАВА I**

**КАТЕРИНА**

Я, как и все, была маленькой.

- Неожиданно.

Не, правда. Я всё помню, у меня что надо память. Спала калачиком, в смешных позах. Грызла прутья детской кроватки. Советская такая кроватка: решётка, тёмный лак, дерево по имени дсп, в Союзе было много дсп. Мечтала быстрее стать большой. Всё как у детей. Жила в новом микрорайоне на краю мира - и не догадывалась об этом. У меня были два бога: мама и папа, и третий, поменьше - шкаф с игрушками, опять из дсп. Боги меня любили. Я родилась за несколько лет до перестройки.

- Что было первым, что ты помнишь о себе?

Мне не было года. Резко проснулась. Лето, солнце, муха летает кругами по комнате, по единственной нашей комнате, бьётся в окно. Мама не подходит. Нет мамы. Минута, две, три, десять, двести, миллион... Нет мамы. Комната залита солнцем – и такое горе. Как я плакала! Как все дети, которые потеряли маму. Комната пропитывалась солнцем, я истерикой.

Когда я была на грани самоубийства, мама пришла. Из магазина, запыхавшаяся. Успокаивала меня, баюкала. Приговаривала, что больше так не будет. Солнечный свет пытался расплавить наши окна, но я уже была в объятиях мамы, всё равно.

- Яркое солнце тебе не нравилось?

Не солнце, а свет. Не просто свет, а бьющий. Бьющий по окнам. Бьющий окна. Бьёт по глазам. Бьёт в сердце. Бьёт – значит любит. Любит - не любит, придёт – не придёт, в губы поцелует, к сердцу прижмёт, к чёрту, ушлёпок, пошлёт.

- Кать, я всё ещё здесь.

Свет лучше темноты. В темноте грустнее. Так у всех. Я тут как все.

 - А где, как не все?

Мне всех жалко. Ты понимаешь, наваждение какое-то. Дураков, тупиц, придурков, кто там ещё по свету белому шляется. Даже тараканов жалко. Лежат такие, иссохшие, кверху лапками, брюшко мёртвое. У нас на кухне валялись иногда. Они очень любят жить, тараканы, и никогда не грустят. Если ты увидел таракана в раковине и пытаешься смыть его водой, он будет цепляться за каждую нитку, каждую ворсинку, случайно упавшую рядом. Он долго будет плыть даже под водой. Они лапами гребут, я видела, и верят до последнего, и перестают грести, только когда вода наполняет их изнутри. Все их не любят. Жалко их. Убийц не жалко, наверное.

- Человек может убить нечаянно, в целях самозащиты, при других обстоятельствах. Ведь так?

- Ага, знаю такую историю. У бабушки в деревне было. Расскажу, только воды попью.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Бабушка Фрося – так меня называла моя внучечка Катерина. Деревенские кликали Хфроськой. А полное имечко – Ефросинья. Мать любила это имя. Сейчас никто так и не называет деток своих. Горько малость, но то ж жизнь.

Катенька – моя любимая внучка. Мои дети меня ругают: внуков должно любить одинаково. Но невозможно ж одинаково. У Кати есть сестра. Ты знаешь её прозвище? Грех, Грешаня. Я как услышала – руками всплеснула. Матерь Божья, ребёнка так обозвать! Анастасия по паспорту, а дома – Грешик да Грешик. Моя Анна, её муж Иван и Катерина – всё её так кличут: «Ну вылитый грех!» - причитают.  Потом смеются и снова причитают.

- И какие ж у маленького Грешика грехи?

Так я сейчас дальше порасскажу. Лежу у них дома в Москве, хворая после аппендикса, резали меня. Шибко мне не понравилась Москва: шумливая, дикая, без воздуха. Лежу-гляжу: Настя, егоза-коза, сгребает игрушки и в меня целится. Попадёт – хохочет чуть не до слёз. Умоляю её: внучечка, милая, прекрати, бабку до могилы доведёшь. Она сильнее хохочет, уж до слёз. «Правда ваша, вылитый Грех», - заявила я им тогда. После операции была, слаба духом.

- Так Настя на Греха и отзывается?

Помаленьку, бывает, да. Подросла уже, но до чего иногда вредничает. Истерики закатывает, за материну юбку цепляется, другие за руку возьмут – визжит, что полоумная.

- Может, это просто ребёнок такой подвижный, эмоциональный?

Да я ж другого и не говорю! Живой, эмоциональный, но больно вредный ребёнок. Только я тебе доложу, что нельзя, не выходит одинаково внуков любить. Все они разные, как на них равно-то смотреть? Глупости какие. Своих детей я вкривь и вкось любила, а ты говоришь - внуков.

- Кого больше?

Пятого и третьего. В живых четверо остались. Володька, третий, помер. Это мне сильно свезло. У моей мамки одиннадцать детей было, а выжили пятеро. Беда. И сама она: худая, бледная, косточки трутся друг об дружку. Мой отец так её жалел, что пытался за неё работу по дому делать. Отчаянный человек был, плевал на деревенские порядки, в колхоз не пошёл.

Я своего умершего сыночка любила больше всех. Как его не любить, если он мучился всю свою маленькую жизнь. До третьих суток не дожил. Комком лежал, жалкий такой. Трепыхался как рыбка. Я его даже не обняла – двойню только родила, куда мне хотеть чего. Еле до палатей успела пойти. Пока повитуху звали, он и решил пойти, поперёд сестры своей. Поспешил, на беду из меня рванул. Лежу, юбка задрана до небес, Аня второй родилась, орёт. И я ору. А он молчит. Чую, что беда, и не движусь. Ни о чём не думала. Потом жалела, и сейчас жалею, и всю свою жизнь буду жалеть: обнять бы его, прижать, перекрестить, чтобы он знал, что мамка его жалеет. Без любви он умер. Плачу теперь на могилке каждый божий раз. Бабка-бабкой, а реву, как в первую ночь.

- Почему же бабка.

Так бабка и есть! Когда-то в девках бегала, замуж вышла – женщиной стала. А сейчас кто? Не жёнка, не баба. Бабка. Одрябла вся, в морщинах, ноги не ходят.

- Да где морщины-то?

Да что ж ты, слепой, что не видишь. Вот здесь. И здесь. Катя каждый год приезжает, мои морщинки считает. Всякую помнит, до единой. В тот год приехала и с порога мне: «Ба, как странно, ты что, замерла? Ни одной новой морщинки». Зато после того страшного лета будто треснуло лицо, я из морщин кокон могу себе сплести.

**КУКЛА БАРБИ**

Анна Ивановна заходит, с порога светится вся и говорит: письмо из деревни. Я тогда и не знала, что такое деревня и что она есть. Сели на кухне читать. За окном ночь, в комнате день, телевизор сам с собой разговаривает, а Анна Ивановна читает как назло про себя. Мне любопытно, пытаюсь заглянуть через плечо, да только она плечо так подставила, что не заглянешь. Гляди в оба, выгляди оба, уж кажется, что два глаза превратились то ли в один-единственный, то ли в третий-сакральный, а она всё читает. Серьёзная такая, губы сжаты, глаза бегают, в салочки играют со строчками. Уж прочесть невтерпёж. Дочитала, краешки губ ушли вверх – не высоко, а на комфортную высоту, передала письмо Настьке. Та сразу вслух читать. Почерк неразборчив, буквы прыгают, крупные, отборные буквы, но непонятные - чёрт ногу сломит в этих каракулях. Интересно, каракули и каракулевый мех как-то связаны? Вряд ли, но шанс всегда есть. Настя читала по слогам.

«Дорогие мои дети Аня и Ваня и внучечки Катя и Настя! Как вы, живы-здоровы? Не болеете больше? Не надо болеть, скоро по лету в деревню ехать. У нас всё помаленьку. Папка купил мне подарок к восьмому марта, пододеяльник и ночную сорочку, приедешь, Аня, я тебе её подарю. Погода не даёт ничего делать. Мороз поморозил гарбузы и картофель прихватил. Не ждали его, да не у нас же ему разрешения спрашивать.

Люди отмирают, всё меньше делается в Вожигове. Зато скоро будем стираться к Пасхе. Григорьевна уехала в Город. В клуб, говорил тот цыганской породы Валерка, тёти Дуси зять, приходили Гереза, Херескир и алладинцы. Мишенька мой всё пьёт по-чёрному, чернее не бывает, а если бы и было, то не разглядели. Я несу очень большую скорбь через него. Отец кричит, что умер для него Михоня, что и на том свете руки ему не протянет, говорит, его для меня уже нет, не существует. А я считают, жив бог, жива и душа. Крисанова поругалась с Козлом. Не поладилось в детях Крисановым. Валька Аршукова вышла замуж чёрт знает за кого. Витьку Малахова повязали, у него нашли пистолет, дальше – Колька Федотов сошёл с ума, Васька Тузов пришёл с армии. Ну, больше новостей особенных нет. До свидания, не забывай».

Я так смеялась. Тут как в триллере: хорошие новости не в почёте, без них саспенса не будет. Катя рассказала, что её бабушка малограмотная, потому с ошибками пишет, а по мне – с ошибками или без, а синопсис к фильму она уже написала: семейная драма, перестрелка, несчастная любовь и безумный Колька Федотов. Я тогда так сильно смеялась, что Катя убрала меня в шкаф. Задвинула. Я уже видела пыль, погребающую меня, и решила пофантазировать, как меня погребли заживо в буддисткую урну. Проблема в том, что в урну обычно кладут пепел. Барби всегда становятся пеплом, но не сразу же. Мне ещё было рано, я была маленькая. Поняла, что маюсь дурью, а мысли от обиды идут куда-то не туда, и решила ни о чём не думать. Для этого стала думать о «Чёрном квадрате» Малевича. Кате на уроке рассказывали, что это рисунок, который уводит в ничто. Логично, что где есть ничто, то и мыслей оно вызывает никаких. Гром в шкафу – это меня достают из чёртова шкафа. Катерина усадила рядом с собой и села писать бабушке письмо. Я больше не хихикала: вдруг за шутки погребут опять заживо. Я родилась под счастливой звездой, но звёзды же иногда гаснут, умирают там, отрываются от неба. Вдруг моя счастливая заразится и помрёт. Куда попадают звёзды после смерти? На Землю?

«Дорогая бабушка! И дедушка! Пишет вам Катя. У нас всё хорошо. Мама ходит на работу, я хожу в школу, Настя ходит в детский сад. Ещё я до сих пор хожу на репетиции. Теперь у нас не только классическая хореография есть, но и модерн прибавился. Модерн, бабушка – это такой танец, где ты и на пуантах можешь стоять, как балерина, и колесом вертеться, как акробатки, и танцевать под музыку. Музыка разная, классическая и современная. Наша преподавательница говорит, что это дуализм, а за дуализмом – будущее. Дуализм – это когда чего-то два, но выглядит оно как одно, пока не приглядишься. Она вообще много говорит, потому что мы там у станка стоим (тренажёр для балерин, ба), а ей делать нечего, она ходит и делает нам больно. То подъём выгнет, то ногу тебе задерёт так, что хоть падай. Но падать нельзя – она орёт и цепко так держит, орёл в человеческой шкуре. Ещё она, если у тебя шпилька из пучка вылезла, со всей дури впивает её обратно. Говорит, истинная леди должна быть безупречна. Безупречно страдать, видать. Я её не люблю. Мне её хочется послать куда подальше, в жару, но тогда прилетит от мамы. Танцевать под музыку люблю, и на кончиках пальцев ходить. А колесо пока не научилась делать. Так хочется на крутящийся мир посмотреть. Тренер говорит, я трушу. Я сто раз начинала делать и ноль раз закончила. Бабушка, мы скоро к тебе приедем, ты там не скучай! И ты, дедушка! Настя выросла, вы её не узнаете. И маму не узнаете: она в тёмный каштановый покрасилась. Ба, у нас в деревне растут каштаны?».

Я сгорала от любопытства, посмотреть на деревню, на бабушку и дедушку. У дедушки борода, сказала Катя. Главное, не сгореть дотла, это вредно для здоровья, для планеты и для Кати: мы с ней быстро стали лучшими подружками.

**КАТЕРИНА**

Ты в курсе, что деревенские говорили «он её жалеет» вместо «любит»?

- Не обращал внимания.

Там часто выдавали замуж насильно. Редко когда везло. Мою прабабку тоже так выдали. Попадались мужья-пьяницы, мужья, которые били за любую провинность, мужья-психопаты. Никто в деревне не вмешивался в дела соседей. Избитую – жалели. Если рука была сломана – по хозяйству временно помогали. Если встать с печи от переломов не могла – воду-еду приносили. Но к мужу никто не подходил. Его право – бить. «Ты бы полегче с ней», говорили.

Если жена была мощная, её редко трогали.

- Кать, давай разбираться. Неужто все поголовно садистами были?

Нет, что ты, они вообще не садисты, просто глупые, усталые мужики. Вымещали злость на маленьких, слабеньких. Без мозгов, без души, и из других дух вышибали. Безумцы такие старорусского розлива.

Был у бабушки в деревне один мужик, Николай, который с особым удовольствием избивал Лушу, свою жену.

У Николая в деревне не было прозвища. У всех было, а у него – отродясь.

Они жили в самом центре деревни. Пуп села. Он создал своё царство-государство, и даже по приглашению соседи боялись к ним заглядывать. Забор был закрепощён вьюном. Летом двор их был обманчиво красив: частокол зелёный, мелкие лилии мелькают тут и там. Зимой проглядывала суть дома: мертвенные, тоненькие, но цепкие веточки вьюна обволакивали каждый зубец и давно сожрали забор.

Муж Лушки выглядел как бесёнок: коротышка, пузатый, а мордочка остренькая, хитрая. Он не кричал, а она при виде него всё равно сжималась, превращаясь в ячменное зёрнышко. Она заранее знала, что муж приближается: он подковы себе на ботинки прибил. Он младенцев жрёт – бродили про него по деревне слухи. Бродили не зря: он жену из хлебного мякиша заставлял младенчиков вылепливать к праздникам, и под водку и хохоток с селянами пожирал.

А у неё – золотая душа.

Ушат души тебе на голову, бесёнок в пяточку – целовала, щекотала меня бабушка. И поила коровьим молоком при каждом удобном случае. «Своё, родное», - приговаривала. Уж лучше реально было бы её родное, потому что от коровьего меня тошнило. Пила каждый раз как последний, давилась, рыгала. Ненавижу молоко. Бабушка с гордостью за себя смотрела на меня. «Пей, внучечка», - приговаривала. Она любила приговаривать. Звучало – как напевы нескладные.

Двенадцать лет меня поили коровьим молоком каждое лето – целые лета – пока в двенадцать лет я однажды не сказала твёрдое нет.

- Почему?

Был июль.

- Это многое объясняет.

Я пошла к колодцу и хотела вылить молоко из бидона туда. Потом подумала – и вылила на себя. Лушка за забором неподалёку обливалась слезами, я слышала, а я вот – молоком.

- Зачем?

Чтобы колодец не загрязнять.

- Почему не на землю?

Мне исполнилось уже двенадцать, пора было повзрослеть! Папа говорит, что человек растёт, только совершая смелые поступки.

- Катя, а ты как сама думаешь, ты – смелая?

Я очень часто трушу, но иногда решаюсь.

- На что, например?

На разговор с тобой, например.

- Зачем?

Чтоб было.

- Катя!

Чтоб было легче.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Ждём их в то лето, а они всё не едут. Вихри прошли, жара подступила, а они всё не едут. Что у них там за дела, в их Москве. Всё не едут. Я нет-нет, да и выйду на дорогу, вдаль поглядеть. Глядишь-переглядишь себе все глаза, но кроме травы ничегошеньки нет. А как зацепишь точку, что блошку, смотришь в оба — не растёт ли в размерах, не Аня ли едет. Потому-то я и видела своими глазами, что случилось с Настасьиным внуком.

Ехал паренёк неместный на мотоцикле через наше поле и вёз зеркало. Громадное зеркало, но без рамы. Куда вёз — бог его знает, хоть бы и к чёрту на кулички. По полю гулял Ванятка — дурачок местный, по полям и болотам без дела шастающий. Увидел Ванятка такое большое зеркало, заверещал. Водитель затормозил: дурака не сразу признаешь, видать, не понял, решил подсобить, а то и нарочно.

Увидел дурак себя в том зеркале, во весь рост, ясно-ясно, как на блюдце преподнесли, а обе руки у него в том зеркале — левые. Ванятка смотрел, удивлялся, крутился перед зеркалом, но отражение было одно. Обе руки левые. Там, где у него правая рука - висит левая. Нет права, как и не было.

Чужаку надоело удивлять дурака, он поддал газу. Побежал Иван-дурак за тем зеркалом сломя голову, да и правда сломал, когда споткнулся, упал, трижды через голову перелетел, но не помолодел, не возродился.

Голосила по нему вся деревня: уважали дурака. Настоящие дураки — те добрые. Охочий до добрых дел Ванятка каждый божий летний день в поле васильки рвал и всем направо и налево в дар давал. Кому цветочек, кому три, а кто совсем сник — букет из васильков, а то и венок из васильков, благо он их делал шустро-складно. Потому и слёзы по Ване лили все, даже мужики. Бабские слёзы — те хлынули рекой, наполнили обмелевшую речку водой до краёв, да только вода солёная, рыба померла (хоть и просолилась).

Настасья долго неутешная, неприкаянная бродила по деревне, по полю, словно по следам внука-дурака. Плакала, под нос себе бормотала. Давно я ей говорила, надо до знахарки идти. Семья у них проклятая, бедная. Матерь Ивана, Алёна, схоже погибла: утопилась. Пошла к речке и не смогла разглядеть своего отражения в стоячей воде. Ближе, ближе наклонялась, да слишком далеко, видать, зашла, слишком низко наклонилась. Упала что пала. Всё это видел мелкий Ванятка, долго хворал, тогда-то и умом тронулся, но выжил. А может, благодаря тому и выжил.

Чёртово то зеркало никто не разбил - к беде оно, разбитое зеркало. Никому лишняя беда не нужна, потому утопили его от греха подальше в той самой речке местной, положили зеркальной стороной к илу. Дни прошли, оно почернело, но никуда не делось.

**МАМА АННА**

От Москвы мы ехали на поезде ночь, в купе, мы всегда ездим в купе. После от города до села двести километров делали на автобусе, от села до другого села — на автобусе-развалюхе, а оставшиеся семь километров - на чём придётся. Приходилось и на машине, и на кобыле, и пешком.

В тот год от самого города увидали деревья, с корнем вырванные, и провода, в мёртвый комок скрученные.

Пришёл вихрь, потом потоп, - рассказали местные. - С неделю только начали отходить, и мы, и огороды.

Местные не говорят «ураган», говорят - «вихрь», им такое слово роднее. Хотя, когда я сама стала неместной, я же тоже самая настоящая местная, и тоже так раньше говорила. С тех пор, как уехала в Москву, во мне живёт ощущение, что у меня или два дома, или ни одного. Когда я в Москве — мечтаю о своей деревне, но в деревне тоскую по городу. Ни к селу, ни к городу. Москвичи меня иногда раздражают своей заносчивостью, или даже своим умом, но деревенские раздражают не меньше — иного типа заносчивостью, иного типа умом.

Это второй ураган в родных местах на моей памяти. Первый пришёл, когда я была крохой. Я была одна в доме, когда налетел тот вихрь. Он выключил всё вокруг себя, проглотил природу, оставил пыль, охотился за мной, пытаясь каплями пробить, а ветром сорвать железные листы крыши. Никто не шёл с поля домой. Я глядела в окно, где родители. Не было их. Постепенно исчезало всё, что за окном. Безумный ветер рвал дымоход. Мыши пищали в печи: переполох от шума, некуда бежать.

Я открыла окно, чтобы кричать в темноту. На слове «мама» в палисадник ударила молния, затем одна и еще одна. Большая ветвь от яблони рухнула вниз. Я упала с подоконника. Мама не отзывалась, не шла. Потерялась моя мама, боже, как же я испугалась. Исчезла. Значит, я тоже исчезну, от грозы и боли.

Два часа били по мне молнии и гром. Кроме меня и них ничто не существовало. Величайшее творение мира – ничто, уверял мой друг в медучилище. Величайшее творение мира – Бог, говорила я ему. Он не верил.

Вихрь тот ревел сотнями демонов. Я была одна, молнии — слишком злые. Я плакала, но потом догадалась, что это не поможет. Тогда я поднялась и поклялась никогда больше в жизни не плакать. Через неделю ревела от содранной коленки, через месяц — из-за поджопников от отца, а через двадцать лет — от того, что вышла счастливая, с зарплатой, на долгожданные сапоги-ботфорты намеченной, меня обступили на Трёх вокзалах цыгане, а когда исчезли — зарплаты не было. Как я ревела, не передать.

С тех пор, с детства, я боюсь грозы. Наглухо зашториваю окна в нашей квартире в Москве — как мне не хватает ставен в такие моменты. Может быть, на какую-то долю я настоящий деревенский человек, я признаю. Все деревенские боятся стихий. Это легко объяснимо: выйди в поле в ураган, и ты увидишь, каким страшным и сильным может быть мир, как он скручивает вековые деревья и выгоняет облака. Из небытия. Если ты не испугаешься — ты блаженный. Лишь блаженные ничего не боятся, а я обычная.

Мои дети не знают, что я боюсь грозы, а ещё, что я курю. Я считаю, что родители должны быть смелыми и подавать правильный пример.

Ураган в тот бедный год был сильнее вихря моих детских воспоминаний. Мы проехали Бытошь, Клетню, Людиново, Навлю – всё одно. Деревья лежали одно на другом — братские могилы. Ничто не забыто. Обломков и мусора, привнесённых, из нездешних мест, было хоть отбавляй. Как я позже узнала, Катя потом в этом чужом мусоре рылась. Трупики птиц валялись нетронутыми, с вырванными, или вывернутыми, крылами - жуткое зрелище. Одна птица была больше других, перья – серые, а одно – нежно-синее, такой цвет лазурью у нас, что ли, зовётся. Лежала аккуратно на спинке, крылья как крест накрест сложила, смирилась, что не будет летать.

Мы ехали в автобусе, я достала карточки, и мы стали играть в ассоциации. Я люблю своих детей и не хотела, чтобы они вглядывались во всё это, они ещё маленькие, успеют наглядеться.

Синий!

Небо.

Рисунок.

Семья.

Руки!

Дружба.

Подарок!

Игрушка!

Деньги.

Работа.

Автобус.

Окно.

Деревья.

Листик.

Кувшинка.

Ковш.

Созвездие.

Космонавт.

Далеко.

Земля.

Деревня!

Так и доехали до Вожигово, болтая друг с другом и смеясь.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

Я ненавижу деревню. Я стараюсь её любить, потому что так говорит мама. Но мама только и может, что говорить. Она у меня слишком добрая. Мой отец пьёт. Когда я говорю «пьёт», городские не догоняют, что это значит на самом деле. Они думают, что он сидит где-то со своими корешами и бухает. Если бы так, я была бы самым счастливым человеком.

Когда мой отец в запое, он бьёт мать и отбирает деньги, до копейки. Выворачивает её карманы, ищет медяшки. Мама пытается прятать деньги, но делает это плохо. Она у меня учительница русского в младших классах. Учиться хитрости ей не у кого, только в пятых-шестых классах дети начинают выпивать и изворачиваться. А до этого – земные ангелки шепелявые. Я люблю их до шестого класса. И маму люблю, это навечно. И жалею её сильно: она такая хорошая у меня.

Когда отец вытряхивает жёнины карманы, я молюсь три часа тридцать три минуты. На самом деле, минуты две от силы, но как красиво звучит – три часа тридцать три минуты. Живо как-то.

Когда я молюсь, я прошу Исуса, чтобы в школе у нас ни на что не собирали деньги до маминой зарплаты. Потому что у нас их просто нет. Еду мы и так не покупаем – рвём то, что на огороде растёт, да из запасов берём. Огород у нас огромный: мамин, батин и ещё в соседней деревне – бабушки с дедушкой. Моя личная молитва работает: деньги в классе всегда собирают после маминой зарплаты.

Я люблю, когда приходит лето и приезжают городские. С ними интересно, только иногда немножко завидно и себя жалко. Капельку совсем. Они все в обтягивающих джинсах и блузках с Леонардо ди Каприо или надписью I love you. Красота. Мои джинсы мне то велики, то малы: никак не сорву джекпот.

Сорвать джекпот – моё любимое словечко. Я много слов знаю, по сравнению с местными. Это спасибо маме: мы с ней каждый день играем в игру «вспомни редкое слово». Иногда я выдумываю слово, но настаиваю на том, что оно и правда существует. Мама делает вид, что мне верит. Иначе я психую. Без понятия, что на меня находит. Может быть, знать много редких слов – это моя привилегия, и вообще ничья больше.

Моя вторая молитва, только по секрету тебе – это о всамделишном джекпоте. В нашем сельпо продают лотерейные билеты. Я как только есть деньги, покупаю два. Себе и маме, но мама разрешает мне и её открывать. На оборотке стираешь серебряную полоску, зажмуриваешь глаза, потом с размаху глядишь… Когда резко всё делаешь, не так обидно, что опять проиграла. Я не знаю ни одного человека, который бы выиграл. Ну, лично не знаю, по телевизору таких полно, а в нашей деревне не водятся. «Остров невезения устроили себе здесь», - ржёт папа, когда поддатым роется в домашней мусорке, в поисках «чего-то остренького», как он выражается, и находит уже ненужные лотерейные билеты.

Поэтому я почти перестала их выкидывать и превратила в свою фишку: обклеиваю ими нашу туалетную кабинку. Так она становится красивой и уникальной.

Однажды мама купила мне новые джинсы. Ей не отдали ношеные – она сама купила. Я их надела и пошла вечером в амбар. В амбаре летом мы все-все-все собирались, и городские, и деревенские – это был наш клуб для избранных. Он был невозможно крут: узкий, двухэтажный, с длинным мягким диваном вдоль стены, пусть и облезлым. Вот что я заметила. Мои джинсы – они только-только были куплены, и на них ушла большая часть маминой зарплаты – они всё равно отличались от джинсов москвичей и питерцев. Я была какой-то облезлой, как тот диван. Ещё веснушки мои эти. Я не понимаю, почему. Я всю ночь не спала, но потом подумала, что лучше считать как мама: надо всех любить. Иначе очень много плохого надумаешь. И лучше жалеть других, а не себя, а то всю ночь не спишь.

Зато вся наша шайка собиралась в нашем амбаре. Именно нашем. У моих родителей был собственный амбар. Он много у кого был, но только мне разрешили взять его под наши встречи. Второй этаж мы сколотили сами. Амбар стал нашим домиком. Снаружи мы жарили картошку и играли в лапту. А по вечерам забирались внутрь и устраивали посиделки, крутили кассеты на магнитофоне, играли в карты или «бутылочку» и болтали. Ну, и курили и пили тоже. Куда ж без этого.

Я первый раз попробовала водку, когда мне было восемь. Отец дал. Мне и старшему брату. Ему девять было. Мы погодки, и это очень хорошо, когда у тебя в деревне есть старший брат. Мальчики с тобой по-другому общаются: вроде и защищают, и никогда не обижают, и боятся насмехаться. Я насмешки не люблю. Я на них при людях никак не реагирую, а потом лезу на чердак и реву.

Но вы не думайте, я не плакса. Просто иногда от жизни устаю. В деревне мы относимся к разряду бедных семей. Это все потому, что отец пьёт. Из-за этого у него работа только летом – когда его зовут на комбайне урожай собирать. Редко весной – если обычных рук не хватает, говорят. Как будто они у него необычные. Никогда зимой.

Иногда мама, догадавшись, что отец пронюхал, что ей сегодня дали зарплату, отправляет меня к другим бабушке и дедушке в соседнюю деревню. Там идти три часа. Я почти всю дорогу люблю, потому что она через поля идёт, а поля пшеницей засеяны. Кто хоть раз видел пшеничные поля, тот поймёт. Это как море. Накатили волны – и у тебя хорошее настроение вылезло. Они ярко-жёлтого цвета, но это не какой-то кислотный цвет, или грязно-жёлтый, он жёлтый как на красивой картинке из журнала. И у нас всегда облака пышные, не грязные, как в Петербурге, а белые, и небо - ярко-синее, глаза из орбит от такого лезут. Я ездила к дяде в Петербург один раз и тогда поняла, что небо не везде красивое. Дядя хохотал: это ты у нас зимой не была, ты отсюда убежала бы на своих кривых двоих через день. В Петербурге, и правда, хотелось обратно в деревню. Сейчас хочется обратно в Петербург.

Если я выиграю в лотерею, я куплю маме другой дом, подальше от отца, а потом поеду на настоящее море. Только не одна, с кем-нибудь. Одной на море страшно: оно огромное. Было б какое-нибудь маленькое море, как речка, я туда бы поехала.

Идти в другую деревню почти не страшно. Только вначале, на выходе из Паравичей – это деревенька такая, десять домов да погост, - есть заколдованный мост. На нём нельзя оборачиваться , а то в твоей семье кто-нибудь умрёт. И нельзя вниз на речку смотреть. Мы её называем речка-вонючка, потому что от большой реки остался хилый ручеёк. Вонючка - не вонючка, а если, по старому поверью, глянешь в воду, даже на половину секундочки, тебя или кого-нибудь из родни утащат русалки. Умирать в двенадцать лет совсем не хочется, даже из-за русалок.

После моста небольшое кладбище. Днём я бреду, ночью бегу. В темноте там что-то чудное творится. Днём, например, я ни разу странных шорохов не слышала. Ночью их хоть отбавляй. И тени – хоровод из теней, мертвецы всякие, причитания хлябкие. Ночью я на кладбище – ни ногой. Брат утверждает, что у меня так громко стучат зубы, что я всю нечисть этим стуком паровозным распугиваю. Хорошо бы, если так.

Однажды я шла мимо кладбища, а днём там только-только сумасшедшую Люську похоронили. Я шла и косилась глазами, страшно ведь, когда мертвец свежий. На Люськиной могиле была куча конфет. Она в жизни, наверное, столько конфет не ела. Я решила взять конфетку, ну, парочку, и пошла к могилке. Всё ближе и ближе, и вдруг вижу, что половины конфет там нет, только фантики хороводят, от ветра. Наверняка, Люська уже съела. Довольная, что померла, лежит там себе. Я набила карманы конфетами и пошла по своим делам. Но жуть внутри осталась.

Люська жила одна в старом доме, где даже приличного дымохода не было. Я там была. Стены снаружи подпёрты палками – потому что могут рухнуть. Дом у неё – деревяшки гнилые, а стыки глиной замазаны. Даже не покрашен, дом. Лампочек нет – Люська одна жила целый век. Выглядела она на все сто лет. Мы с ребятами считали, что она ведьма, раз так долго может жить. Если она брала чугунок  в руки, то выбирала самый большой и непременно роняла. Тогда чугунок грохотал на всю деревню. Я называла это «солом Люськи». Мама хмурилась, когда я так говорила, но больно смешно.

Когда началась война, немцы на нашу деревню в самом начале набросились. Стали дома выбирать, по двое-по трое селиться. Хозяек в амбары выгоняли жить, только тем, кто с младенцами, разрешали остаться. Подошли они к хижине Люськи, посмотрели, пошушукались и разбрелись по другим домам. С тех пор Люська всех немцев до скончания века называла добрыми. Что с неё возьмёшь – сумасшедшая.

Самое смешное, что единственным соседом сумасшедшей Люськи был фельдшер. Она появлялась раз в две недели и принимала всех, кто захочет к ней прийти пожаловаться. Но древняя Люська к ней не ходила – видно, жалоб у неё не было.

В деревне её кликали сумасшедшей, потому что она могла начать орать ни с того ни с сего. Мама говорила: она реагировала криком на слова, которые ей причиняли боль. Я не очень верила маме. Я своими глазами видела: однажды она закричала на человека – неместного – который подошёл к ней, когда она, опираясь на свою клюку, тащила плетушку, полную лука. Человек ей сказал: «Что ж ты, старая, одна-одинёшенька такую тяжесть тащишь? Давай, помогу». Как она на него кричала. Можно было не выходить из дома, и всё-всё услышать. Ругалась: «Прощелыга, пройдоха, пошёл вон, а то как дам, ишь-ты, помощник!» Клеймила: «Ползать будешь, ещё раз близко встанешь!». Проклинала: «Гореть тебе в аду с хером набекрень!»  И всё в том же духе (или не в духе? Надо у мамы спросить. Хотя нет, мама как всегда придёт вымотанная, не буду её мучить).

Люська умерла, а дом стоит.

Дядя у меня очень удачный. Он родной папин брат, но он не пьёт. Его зовут дядя Коля. Он в советское время уехал ремонты делать в Ленинград. Женился на местной женщине и даже разговаривать по-другому стал. Мы, деревенские, букву г не как городские говорим. То есть, если я захочу произнести правильно, я могу, вы не думайте. Но если я скоро говорю, или если думаю о чем-то своём, я обязательно г как х скажу. Не знаю, почему так, прямо загадка. Да мне и нравится с х произносить: так слова красивее, с х как бы петь получается. А с г – фигня какая-то нескладная. Говно, одним словом – такие слова я тоже знаю. И матом ругаюсь, когда не дома, иначе в компании за своего не сойдёшь. Блядь там всякие, хуй – это я запросто вставляю. А дома - запросто не вставляю. Хотя я вроде и не двуличная, а получается, меняюсь в разных ситуациях. Это называется «переменная». В точку.

Все проблемы деревенских от алкоголя. Я когда-то так сказала маме. Она нахмурилась, съёжилась: «Не надо так говорить». Я ей – ну вот, папа пьёт, а дядя Коля не пьёт. Или вот, Алексей Иванович, председатель из соседнего села, не пьёт. Ты видела, какой у них дом? И в чём его жена ходит?»

А она мне: «Не обращала внимания, в чём ходит жена Алексея Ивановича, но ты пойми, люди не всегда пить просто так начинают. У папы твоего было трудное детство, а дядя твой был младшим ребёнком в семье, ему не досталось так сильно, как отцу».

В чём досталось, я пока так и не поняла. Уж точно не меньше, чем мне. Я в семье единственная девочка, а это значит, что, если мама в школе, вся домашняя работа на мне. Домашняя – это еду готовить, картошку чистить, посуду мыть, грядки полоть, полы мыть. Полы в деревне каждый день моют. Мне моя подружка Света из Петербурга рассказывала, что её мама только по субботам уборку делает. Генеральную. В городе так можно, а в деревне нельзя. У нас только пьющие женщины не следят за домом. Город – это как отдельная планета, со своей грязью.

У нас в компании есть девочка, Катя, – она ни разу в жизни не пробовала водку. Я знаю, что водка - это плохо. Но я не знаю ни одного деревенского, который бы её не пробовал. Она даже курить не пробовала. Что тоже странно – потому что уж в курении ничего опасного нет. Я редко курю, только потому что меня мама проверяет иногда. «Дыхни», - говорит. Я не хочу её расстраивать. Ей и так тяжело. А она делает вид, что не тяжело. Летом мне не курить сложнее: приезжает куча городских, перед которыми хочется быть крутой. Продвинутой.

Двинуто-продвинутой.

Лето обычно проходит по кальке, но это такая правильная калька, кайфовая. Ты очень много гуляешь, очень много смеёшься, очень мало спишь и всё время смотришься в зеркало. То лето, про которое ты спрашиваешь, закончилось плохо. В амбаре повесился пятнадцатилетний Серёжка, у которого всё было хорошо.

**МАМА АННА**

Детство у нас было хорошее, весёлое. Лучше, чем сейчас у современных детей. Всё-таки в Советском Союзе хорошо жилось. Репрессии? Да это пропаганда идёт. Не больше человек умерло, чем сейчас умирают. ГУЛАГ? Были плохие случаи, но не всегда ж невинных ссылали.

У меня было два старших брата и один младший. Четыре ребёнка – самое то. А когда ты одна девочка в семье, то тебя все защищают. Это с одной стороны. А с другой – берут в свою компанию. Я всегда бегала с мальчишками: с холма на холм, прятки, догонялки. Зимой начиналось главное раздолье.

Как я люблю мороз! Такой, чтобы покрепче. Щёки чтобы красные, а зубы чуть-чуть сводит от холода. Снег в такие дни в деревне скрипел. Веселье в такие дни зашкаливало.

У нас не было ни санок, ни коньков. У нас были ледянки. Мы их звали «говнянки». Нет, не в переносном смысле, в самом прямом. Древние люди с горок так же катались. Как хорошо, когда есть крепкие традиции. Мы брали коровий навоз и обмазывали им тонкий деревянный сруб, сделанный отцом. В мороз выносишь это во двор, за ночь навоз околевает, ледянка готова. Как они скользили! Дома в нашей деревне стояли на холмах, и с любого места получалась горка. Главное было – не въехать в дерево. Кто-то въезжал, конечно, руки ломал. Я ни одного разу в жизни ничего не сломала.

Одна из самых больших горок на моей стороне холмов начиналась прямо от нашего двора. Летишь на говнянке – и не помнишь ничего. Как хорошо.

**ЛУКЕРЬЯ**

У меня хороший дом и муж работяга. Ещё у меня ребёнок. Не малой уже. Живёт отдельно. Пять лет я ютилась приживалкой в соседнем доме. Меня спасла семья из четырёх человек. За крышу над головой и еду я им по хозяйству помогала. Работы было от зари до темна: и дом, и огород. Голову к земле прибивало, да то и под руку: к земле ближе, чётче видишь. Он в ней – в жёнке своей – души не чаял, а меня не жалел. Она у него слабенькая, чуть поработает – сразу чахнет. Я всю работу одна делала. Дочке тогда три годка было, она помогать не сумела бы.

Прежде меня суженый обрюхатил. Один путь был не по кривой, в приживалки. До того он мне жениться обещал - мы целый месяц гуляли вместе. Уж и разговоры о нас пошли. Уж как он умолял, и повторял, что мне понравится. А мне не понравилось. Он овчину в огороде кинул, навалился, ноги раздвинул. Я ему говорю: больно, а он – тише ты, соседей перебудишь. Я замолчала. И каждый вечер молчала, думала – так надо, да и ему хорошо, он всё время ещё просит. Только мне не нравилось, да ну много чего бабам на селе не нравится.

Однажды кровь не пошла. Я никому не говорила. Думала – так надо. Он сам спросил: когда, говорит, к тебе нельзя прикасаться-то? Я думаю, вот его сейчас обрадую: можешь трогать, когда угодно. Он потемнел: «Чего это?». Крови-то нет, говорю, вся чистенькая я. А он мне: «Дура, ты хоть понимаешь, что теперь брюхатая?» Я аж осела. Мне никто не говорил, что крови нет, если ребёнок есть. Хотя, если подумать, так и надо, так и надо: Бог лишает одного, прибавляет другого. Откуда ж ему, дитёнку, как не из крови моей, взяться? Господь не дурак, всё у него по-честному, но я, деревенская дурёха, этого не поняла.

**КАТЕРИНА**

В деревне все всё знали про Лушу и её чудовище, Николая. Ровно в девять вечера он тушил свет. «Неча деньги тратить», - говорил. А тушить свет в деревне – это тусклая лампочка Ильича в главной комнате, последний огонёк, который гаснет, и приходит тьма. Фонарей-то нет, звёзды тоже не всегда с неба смотрят - задалбываются.

Николай включал телевизор, программу «Все вести» на первом канале,  в девяностых там ведущей была Екатерина Макосова. Она являлась в образе скромной, невинной девушки. От неё за версту пахло благостью. Плохо так пахло. Те новости «Благие вести» надо было назвать. Деревенские выли в восторге, мой дедушка смотрел на неё с отеческой нежностью, и бороду подстригал ровно перед воскресным выпуском вечерних новостей . На её месте он мечтал увидеть меня. Робко так мечтал, будто не верил. И то правда: ну какая из меня журналистка.

Николай предупреждал жену, что, если она будет кричать, он будет бить сильнее. Она послушно скулила, а собаки во дворах скулили в ответ.

Все говорили: ну что ж ему неймётся всё, когда он наиграется. Упырём иногда звали - так, мимоходом.

Однажды я спросила маму: зачем Лушечка с ним живёт? Все её звали только Лушечка, и я в детстве думала, что это её полное имя такое. «Все считают, что ей повезло», - нахмурилась мама. «Почему?» - спросила я. «Почему, почему», - разозлилась мама. – «Маленькая ещё такие вещи знать».

Я в тот раз пообещала себе, что как только вырасту, сразу узнаю, почему Лушечке повезло, что её бьют.

**МАМА АННА**

Когда я впервые приехала в Москву, хотелось бежать. Вместо сорока домов – сорок сороков. Люди спешат, электрички спешат – голова кругом, город бьёт по ушам, просто бьёт. Страшно было, такое не забудешь.

Постоянный стыд вылазил за свою одежду. Никак не понимала, чем я отличаюсь от москвичек, но видела, что ой как отличаюсь. Надену юбку – деревенщина. Как ею не быть, если всю жизнь на селе прожила? Стеснялась, а денег на новую одежду поначалу откуда было взять. Тройку лет мы с деньгами порознь жили, потом полегчало.

На второй день в городе подала документы в медицинский колледж и в МГУ. Об МГУ я давно мечтала, это же МГУ, я туда на исторический подалась, на вечерку. На дневное я б конкурс не потянула, да и работать надо было. Историю в школе у меня ух как преподавали, историк сильный был, мы все даты наизусть помнили – от зубов отлетало. С цифрами, с математикой у меня беда, я чистый гуманитарий. Но цифры в истории всегда что-то значат, в отличие от цифр в математике. 3+х=4/5. Откуда берётся этот икс, без роду без племени? Как его угадать? До сих пор не понимаю, неприятно мне это вот всё. «Извлечь корень» - тошно-то как звучит. А история в школе была хороша, сидели, слушали, само в голову лезло. Сейчас так не преподают. У меня дочки, что одна, что вторая, больше десяти дат и не вспомнят. Испортились школы, советское образование было в разы сильнее. Развалили страну, и образование туда же.

На второй день в Москве меня обсмеяли. Прихожу в МГУ, говорю: «Где здесь можно документы подать?» Рядом девушка – противная по виду, с парнем каким-то начала хохотать, передразнивать меня: «Хде, хде». Мы в деревне и настоящую «г» умеем говорить, но как забудешься, обязательно «х» вылезет. Ведьма эта смеётся, а мне обидно - и страшно - до слёз. Поклялась себе всегда говорить «г». Ещё поклялась, что теперь обязательно на истфак тот поступлю. И поступила.

Но так и не пошла. Как узнала, что приняли – коленки подкосились. История мне нравилась, но - учишься шесть лет, а после университета должен по распределению в деревне учителем отработать. Возвращаться в деревню – позор на головы родных. Соседи засудачат до смерти. Хотя в те дни и вернуться мне хотелось до смерти. Прошли те дни. Пошла учиться в техникум на медсестру. Святое, уважаемое дело. Медиков в Москве оставляли, а в деревне они в таком почёте, что краснеть не за что будет. Не знала я, что ещё много раз покраснею, и причиной будет моя дочка.

**КАТЕРИНА**

Моя мама выросла в деревянном доме, спала на сколоченной из лесных досок кровати, пропахших то хвоей, то берёзовым соком, а в итоге пылью. Мама мыла деревянные полы, зимой каталась с горок на деревянных санках, летом – на деревянных качелях. Не удивительно, что её мозг стал немножечко затвердевать. Земная красота стоит на этой твёрдости. Дерево заставляет задуматься только в виде заноз. Мир спас мою маму от заноз. В детстве она сыграла с миром в рулетку. Засунула горошину глубоко в нос, ни дать не взять – принцесса с горошиной. И саму горошину в итоге тоже было – ни дать, ни взять – зашла глубоко в носовые пазухи, там и засела. Климат в носу оказался чрезвычайно благоприятным: влажность, темнота. Горошина не устояла перед таким предложением и проросла. Один росток пошёл выше, но к мозгу. Другой – ниже, но к свету.

Мир, видно, любил мою земную, а потому столь притягательную для жизни маму, и спас её от бесконечно растущего гороха.

Мама жила в невидимой, забытой всеми богами деревне. Её родители запрягли колхозную клячу, закутали маленькую маму в три телогрейки, усадили в повозку и повезли к врачам. Врачи – это те, которые ближе всего к Богу, но постоянно отрицают это. А сами верят сильнее всех. Я знаю это, я подглядывала за их мыслями, когда с переломом руки в больнице лежала.

- Откуда перелом?

От верблюда.

- Тебя кто-то ударил из деревенских, так ведь?

Ты меня перебиваешь безбожно.

- Прям уж безбожно.

Ну, зверски.

- Любишь ты громкие слова, Кать. Почему тебе так надо покричать?

Я не кричу. Потому что всё вокруг несправедливо.

- Ты же сама только что рассказывала, как мир помог твоей маме.

А потом напугал её.

- Это чем же?

Ей было так страшно в Москве, где за каждым углом натыкалась только на насмешки, что, поселившись в микрорайоне, она решила, что это деревня, только больше и с богом. Стала молиться: своими словами, нескладно, тягуче, робко-робко. Редко-редко покидала свою деревню: никто из деревенских не любит уезжать на чужбину. Они делают это или чтобы выжить, или если изгнаны.

Моя мама прекрасно вписалась в местное сообщество на краю Москвы, соблюдала все правила беспрекословно. Моя мама – этакая деревенская барышня, купеческая дочь. Купеческих дочек в Москве много. Ходят в своих собольих шубках и ботинках «на удобном каблуке, натуральная кожа». Стая её приняла, и моя мама снова стала счастлива. Только изредка молилась по ночам, не убавляя звук телевизора. Моя мама сильная, только мне за неё трепетно. На краю мира жить тяжело: ты всегда помнишь, что ты на краю.

Наш микрорайон был новым, это значит, что квартиры там давали молодым семьям. Сколько детей – столько и комнат. Максимум три комнаты, количество детей не ограничено.

Все мамы были одного возраста и рожали одновременно. Единственный роддом в районе привык к атакам в случайные дни. Пятнадцать рожениц были доставлены однажды за один час. Все они тужились и кричали. Воздух был так раскалён от криков и боли, что к роженицам присоединились пациенты других отделений. Они визжали, выли, орали. Слева больница заканчивалась моргом, справа был МКАД, в гинекологии не могли родить пятнадцать женщин, врачи бегали, с каждым километром теряя контроль над отделением и над собой. Шёл девяносто первый год. Никто ничего не понимал. Врачи стали выть с пациентами – от безысходности, или от того, что пытались помочь им. Больница стала клубком боли и воя. Клубок нарастал, стены скрипели, отчаяние уже схватило за горло, сипели пятнадцать женщин. Этот плач у нас песней зовётся. Раз так, раздался детский писк.

Этот первый ребёнок так и не закричал во всю глотку. Пропищал да помер. Другого залетевшая случайно восемнадцатилетка сдала в дом малютки. Третьего перепутали с четвёртым. Пятого выкрали. Шестой родилась моя сестра. «Принесём её в жертву богам, чтобы больше никто не пострадал?» - пошутил дежурный врач. Мама шутки не поняла: когда медики протянули руки к новорожденной, скальпелем номер двадцать исполосовала трёх акушерок и дежурного врача, прижимая к себе малышку. Зря что ли на медицинском отучилась. Махать скальпелем было легче, чем держать малышку: малышка весила шесть кило и больше походила на богатыря. Бой был в мамину пользу, на руках у мамы улеглась пышнощёкая малышка. Пуповину отрезала сама, даром что неровно. Потом малышка подрастёт и каждый божий день, со своей богатырской силой и здоровьем, как по часам, будет крушить всё вокруг, выливать гуашь на мебель, резать простыни, распугивать соседских собак струями папиного одеколона, драться с детьми в песочнице (и всегда побеждать), целиться мячами в люстру (ей нравилось, как падают тысячи осколков) и реветь на весь двор и парочку соседних окрестностей, если что идёт не по её. Мама скажет, это потому, что силу ей некуда было девать. Я скажу, что ей было скучно жить в нашем краю-на-краю и она пыталась разукрасить мир по-своему. Папа скажет: «Ох, грех», когда малышка вспорет диван «малютка» и выльет в сердцевину все семь маминых французских духов, привезённых кем-то по большому блату в советские годы, припорошив всё селёдочным соком из холодильника. «Красную Москву» не тронет – логика в разрушениях малышки есть всегда, хоть и никогда не понятна нам. После папы все её станут называть «Грех» и нежными производными: «Грешаня, Грешечкин, Грешкин». Нелепое прозвище вопьётся в неё, и она будет не против: дан дар соответствовать.

Это будет позже. А пока мама была в роддоме и прижимала к себе шестикилограммовую малышку с криво откромсанной пуповиной. Как только пуповина упала к ногам врачей, мама пришла в себя и помогла акушеркам зашить нанесённые её рукой врачу раны: она же медсестра, она давала клятву Гиппократа. Правда, сначала подняла, чрез немыслимую боль, и положила на кровать пуповину, кровь от крови, плоть от плоти, не место ей на полу, даже если ради этого должно преклониться всем телом. В этом суть матери. Странное это существо, мать, приспосабливаемое.

Многие жители нашего микрорайона помнят тот день плача, который заставил их поёжится, но не более. Москвичи – привыкшие. Жизнь пошла своим чередом.

Молодые мамы гуляли меж новостроек, толкая перед собой стройные ряды колясок, в первых рядах гордо шли немецкие коляски, чуть позади – чешские, и замыкали всё советские. В новой России тогда всё было ещё советское.

Им было, о чём поговорить: о садах (две штуки на район), школах (четыре штуки на район, одна английская, но без блата не попасть), поликлиниках (одна детская и одна взрослая, вторая никакая, терапевта гнать надо), о том, что дворничиха завела себе любовника (дворничиха тётя Люба из нашего подъезда не отличалась скрытным характером и баловалась тем, что доводила местных купчих, всех как на подбор полненьких, с двумя-тремя детьми и чёткими взглядами на жизнь, сменой любовников до нервных сплетен. У тёти Любы была дочка-инвалид).

Доведённые кумушки медленно пропитывались неврозами на своих кухнях. У моей мамы, переболевшей неврозом при горохе, к нему выработалась устойчивость.

- Кать, откуда ты знаешь, что такое невроз?

На кухне услышала, наша соседка тётя Ира из семьдесят девятой квартиры набросилась на дядю Колю, и разбила об его голову бутылку. И голову, кстати. Он валялся и просил вызвать скорую. Папа побежал вызывать, я побежала в коридор. Там скулил дядя Коля. Я поспешила обратно на кухню и залезла под стол. Длинная скатерть в коричневую клетку оказалась честным союзником: вещи вообще понимают меня лучше, чем родители. Вещи и бабушка с дедушкой, они умеют не предъявлять претензий, даже если надо бы. В той суматохе скатерть в одинаковую коричневую клетку показала себя с прекрасной стороны, я не раз под неё возвращалась. В тот день мама сказала папе, что у тёти Иры невроз. Папа сказал, что у тёти Иры – характер херня, а не невроз. Мама с папой поссорились из-за тёти Иры. Вдребезги – разбили две кружки и блюдце.

Кухни в девяностых были центром жизни, моей тоже. Там можно было подслушивать разговоры. Там мама и папа шептались о том, как выжить в перестройку (переплавить транзисторы, выделить золото, продать на рынке) и кто украл мой велосипед (тётя Ира с дядей Колей, невротичка и алкоголик). Там делались уроки. Там я из-под стола подслушала, что папа не хочет покупать мне новый велосипед, и сказала «ты импотент». Мне в саду сказали, что это значит «дурак, только звучит умнее». Папа кричал так, что значения слова «импотент» я не забуду никогда. Велосипед мне папа купил: не знаю, подействовали ли на него мамины уговоры или мои оскорбления. Позже из-под того же стола я спросила, что такое пенис. Папа вышел из кухни. Позже он вышел из ванны голым, думал, что никого нет дома, и так я узнала, что такое пенис.

Кухня как эпицентр однушки. Однушка – это как полушка, самая мелкая разменная монета. В однушке вечно к тебе пристают по мелочам. В шкафах не спрячешься: тараканы. Куда деться? Приходилось слушать истории. Соседей, маминых подружек, близких - и ещё чаще дальних - родственников, ссоры соседей дяди Гены и тёти Инны, дяди Коли и тёти Иры, и Ольгиванны – гипнотическое имя, и рассказы про свидетелей Иеговы и махинации дяди Олежки. Папа звал его Олежек, а дети верят родителям.

Секса за стенкой ни у кого не было, потому что всё то же самое: дети, родственники, мало места, много тараканов. Куда деться. Был бы у них секс – мы бы знали. Но никто из наших родителей сексом не занимался.

- Как же вы тогда появились на свет?

Возникли из хаоса. Хаоса тогда было хоть отбавляй. Историй через край. Раньше мне это нравилось. Но проблема в том, что истории никуда не уходят, они начинают жить с тобой, хочешь ты этого или нет. Ваше мнение их не интересует. Ваше мнение вообще никого не интересует. Даже тех людей, с которыми вы занимаетесь сексом.

- Не рано ли тебе заниматься сексом?

Во-первых, я взрослая, мне уже двенадцать, и я много читаю, то есть не отстаю по развитию. А во-вторых, я много подглядывала.

- За кем?

Там, в деревне. Там секс был частым, надо только было места знать.

- Зачем ты подглядывала?

Я пыталась понять, любят ли они в деревне друг друга.

- И как, любят?

Ты любишь свою жену?

- Мне кажется, да.

Вот и им кажется.

- Для своих двенадцати ты слишком иронична.

Это меня врачи в больнице научили. Я вообще хочу стать врачом, буду всем помогать. Я в деревне однажды провела настоящую операцию, разрезала, а потом зашила рану на руке - крестиком, по-другому я не умею, да там надежда только на крестик и была.

**КУКЛА БАРБИ**

В Москве я жила на царских правах. Уютная квартира с видом на «кольцо», горы игрушек, горы книг.

У меня была розовая резиновая мебель - два кресла, софа для гостей, - пластиковый стол и пластиковый абажур с ножкой-цаплей. Всё это умещалось в советской «стенке». Сверху и снизу, в нишах, стояли книги. Справа в дверцу был вбит гвоздь. На гвозде висели лапти. В них никто не ходил. Лапти были сувениром.

В девяносто первом Катькин папа поехал в первую в своей жизни командировку в Австрию. Он был инженер и устроился в иностранную компанию, выскочившую на российский рынок.

Откуда я это знаю? Это события вся семья ещё месяца три обсуждала. Шутка ли – первая поездка за границу в жизни? Жутко.

Как его собирать? Курица в дорогу? Из самолёта не высадят? Галстуков много класть или одного хватит? Час ночи – а сна ни в одном глазу. Где загранпаспорт? Куда ты его положил? Потерял! Сердце чуяло, что так и будет. Беда. И костюм мнётся, если запихать в чемодан.

Два часа ночи: четверо членов одной семьи ищут пропащий паспорт. Ползают по однушке, по миллиметру выверяют пространство с кулачок. Украли? Но кто? Да нет же, позавчера тут, в комнате, в руках держал. Мама почти плачет, папа, с продольной морщиной на лбу - вчера ещё не было - ходит из угла в угол, словно в тюрьме. Австрия так близко, но без паспорта ты как в клетке. Нет паспорта – есть морщина. Есть паспорт – нет морщины. Закон равновесия, аксиома мира. Мира, который не постижим без загранпаспорта. И целой ночи мало, чтобы напасть на след блудной бумажки. «Да если поздно найдём, только и останется, что посрать и подтереться», - кричит папа. Мой папа в ярости, это очевидно по грубостям, которые он говорит маме и паспорту. Не удивительно, что паспорт прячется.

Паспорт отыскали, папа уехал, разговоры в подъезде ещё долго не стихали. Обетованная Австрия, до которой папа шёл тридцать лет и два года.

За глаза я называю папу Катерины своим папой. Я имею на это право: из всех кукол в гипермаркете он выбрал меня. Сначала я понадеялась, что замуж, но потом поняла, что это переживают все девочки в детстве: хотеть замуж за родного папу, а не чужого мужика. Это проходит с возрастом. Я рада, что некоторые мои эмоции не пластмассовые. Иногда – наоборот - не рада.

Меня привезли как венский сувенир. Я продавалась в горнолыжном костюме. Если снять штаны - под ними ничего нет. Катя первым делом сняла штаны. Вторым - сшила мне трусы и лифчик. Всё было корявое, Катя вообще плохо работает руками. Я обратила на неё внимание, когда увидела, что она не может прикасаться к велюру. Мать протянула ей кофту из велюра, Катя взяла – и резко откинула, скривилась.

– Дура, сказала мама, - хорошая ведь ткань.

– Противная ткань, - сжалась Катя. Я думала, её будут бить, но ошиблась. Её вообще не били. Это было странно. Кукол бьют гораздо чаще. Не специально, и это не больно – пластмасса в этом случае скорее плюс, чем минус. Но морально неприятно. Я люблю мечтать о морали. Половина людей живёт вообще без мозгов, а рассуждает о высоком.

Из Москвы меня потом отвезли в деревню. Когда игрушек становилось слишком много, мама кидала их в большой мешок и увозила в деревню. Как сейчас помню тот день, пластиковая память вечна, как и сам пластик. Из Австрии в глушь - я переживала, но никто не верил или не замечал. В мешке было темно, но уютно. Когда мешок там, снаружи, поднимали, казалось, что ты покоряешь космос.

Если несли в избу по приезду – хороший знак. Главное, чтобы никто не выносил тебя поближе к печке на заднем дворе. Тобой могли разжечь огонь, втихаря от Кати. При Кате этого не делали – она кидалась в огонь и спасала игрушки. Правда, забывала об этом через десять минут, и взрослые довершали начатое. Вероломные, но последовательные люди, эти взрослые.

Но я была самой первой Барби у Катерины. И помнишь же, я была уникальной: не в платье, а в бирюзовом горнолыжном костюме. Катька сначала расстроилась – она мечтала о пышном, бальном платье на кукле, но быстро меня признала. Люблю детей: они любят кукол такими, какие мы есть.

Катя часто расчёсывала мне волосы собственной расчёской и всё приговаривала, что костюм лучше платья. Баюкала по вечерам: укладывала меня на полку и ставила картонную заслонку, чтобы не мешал свет.

Однажды она мне призналась, что тоже мечтает о пластмассовом сердце. Я ей сказала, что пластмасса – это очень удобно и никогда не больно. Эти слова мне аукнулись.

**КАТЕРИНА**

Когда папа привёз мне Барби, я не могла заснуть всю ночь. Я даже забыла, что скучала по папе. Сестре он подарил куклу-негритянку в коротком платье, а моя была одета в спортивный костюм. Грудь у обеих кукол была крутая, а у меня всё не росла.

Кукла Барби! Не в розовом платье, но с такими хрупкими лодыжками, с таким точёным носиком и волнистыми, золотистыми волосами. Все в моём классе мечтали о кукле Барби, но была она только у двух человек. Я стала третьей.

Он очень тяжело снимался, этот костюм на моей Барби. Я думала, уже не смогу, и вдруг штаны поддались. Я хотела переодеть Барби в платье. Шить я не люблю – меня раздражает иголка, но у меня был лоскуток алой ткани. Думала обернуть в него Барби, и тогда уж заснуть со спокойной совестью.

Под штанами ничего не было. Такой красивый костюм - и без трусов.

Алую ткань пришлось потратить на трусы. Перешивала трусы два раза, и нитки, как назло, мне дали только синие. Синее на красном – сочетание так себе, отвратненькое. Зато мои трусы до сих пор не порвались. Барби их оценила. Носила не снимая.

Не смотри на меня так, я пошутила.

Но про трусы я не шучу. Не могу, когда люди без трусов. Они тогда очень беззащитны, хоть десять юбок на себя напяль.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Мой первый сынок, старшенький Михоня, самый добрый был. Меня обнимал. Помер он, Мишка. Спился и в тридцать лет помер. В деревне родился, в деревне сгорел. Сгорел в печке. Заживо, в доме своего собутыльника Плеша. Плешь – он не плешивый. Красивый как Христос. Черноволосый, лицо худое, глаза тёмные мокрые. Ему, молодому, клок волос выдрали в драке. Кто-то рассмеялся: «плешь ходячая!» Так и прицепилось, благо что под характер легло: всего много, но везде пробоины. Плешь еле ходит, хотя молодой ещё, сорока не будет. Сиганул с моста в речку, сел на мель, хребет сломал. Дали ему инвалида, дали и пенсию. Пенсию и пьёт. Когда совсем идти не может, его кореша несут, на вытянутых руках, вшестером, шествуют по селу, как с грузом ценным. Плешь разляжется, как если бы на перине лежал, и всё в небо посматривает. Шуточки изволит: «Вот бы мне женщину. Вместе бы пили».

Лично мне клички милее имён. Сразу смекаешь, кто перед тобой.

Я всю жизнь в деревне Вожигово прожила. И без царя, и при президенте, при голоде и при вшах. Как мы голодали – этого не порассказать. Траву ели, у земли семена отбирали, три ягодки на пятерых делили. Куда там, всё не сыты. Я счастлива, что Катерина голода не знает. В дорогу мы им всегда с собой кабана давали. Резали за пару дней до отъезда. Тушу вот разделанную клали, засоленные консервы с потрохами, килограммы сала, картофеля маленько. Катерина на следующее лето всё равно приезжала тоненькая. Кажись, дунешь – и сломаешь. Я такая же в детстве была, это у нас в крови. Моя кровинушка.

Иван, мой зять, сильный такой. Рюкзак огромадный доверху набивал свиньёй, в руки - по две сумки - с яйцами, луком, яблоками, вишней. Яйца надо сверху, то ж побьются. До самой до Москвы довозил. В Москве таких нет. Анна, дочь, писала, что уставал, без сил по приезду падал. Сам Иван молчал: мужчина. Он еврей, но такой хороший. Он, слава тебе Господи, православный, не чужак. Правда, не верит ни во что.

**КАТЕРИНА**

Все в деревне вторили друг дружке, что надо чем-то жертвовать. Своим здоровьем – ради детей, своим временем – ради денег, колхозной лошадью – ради своей картошки. Они сворачивали курице голову и не понимали, почему я отворачиваюсь. Шея моя в те моменты походила на свёрнутую куриную. Разрубить лопатой мышек-полёвок – плёвое дело, видели, как я их, этих жалких крыс? Жалобными были только деревенские песни и завывания волков на опушках по ночам. Их мир стойко стоял на жертвах и даже не думал двигаться. Уж лучше бы на китах.

Одним из самых будоражащих событий в деревне было убийство свиньи. Резали свинью в конце лета, чтобы запастись на зиму мясом. Убивали в первой половине дня – успеть бы всё отмыть, убрать, просолить, законсервировать до сумерек, закончив день молитвой.

«Отче наш, Иже еси на небесех!

да придет Царствие твое,

да будет воля твоя,

яко на небеси и на земли.

Аминь!»

Трижды перекрестятся двумя пальцами – в деревне всё по старинке. Лежит боров, бежит речка, греет печка. Мужики пьют. Ужин при свечах под хруст свиных ушей и картошку на свином сале.

Ты не думай, я их не виню: хочешь выжить в деревне – много пей, ешь мясо. Но свиней мне всё равно жалко было. Неразрешимое противоречие: жалко до кома в горле, а в обед уплетаешь этот кусок плоти, и иди оно всё в желудок вместе с комом в горле. В конце всё растворяется: будто и не было свиньи, и ком как приправа. Вкусно, только спичкой внутри кто-то чиркнул, ожог оставил.

В деревне боровов на отходах и бураках растили до сказочных размеров. Меня бабушка сажала - я на них верхом каталась. Похрюкивая, будто смеясь, свинка радостно бегала по двору. Я визжала и похрюкивала в ответ – от радости звуки становятся животными.

Потом меня просили погулять. Я торопилась уйти от дома, на все четыре стороны, лишь бы успеть, но никогда не успевала: вслед себе слышала жалобный, умоляющий, режущий тебя вдоль и поперёк предсмертный крик свиньи. Аминь, аминь, спаси нас, Боженька, приговаривала. Как в плохом сне, я не могла уйти далеко. Стоны, стоны, стоны налетали на меня, избивали меня, засоряли меня смертную не моей смертью.

Я молилась об одном крике от свиньи. Это значило бы, что свинью убили с первого раза. Это в счастливый год. Временами визг повторялся. Один, два, три, мамочки, я умираю. Ой, нет, нет. Как дальше жить? В самый жестокий год убийства свиньи я вернулась во двор и насчитала двадцать продольных полосок крови. Она хотела спастись, божечки ты мой. Отче наш, иже еси на небеси? Какого чёрта я никак не выучу до конца хоть одну молитву?

Местные алкоголики, участвовавшие в той резне, налили себе по стаканчику горячей свиной крови и выпили залпом, не закусывая. Больше всего пить кровь любил отец моего друга Вутёнка, Вутак. Силищи в нём было немерено, несмотря на вечные пьянки. Его глаза искрились от возбуждения, когда он вытирал «усы» заботливо поданной бабушкой салфеткой и уходил, зажав в кулаке денежку «на водку». Бабушка расшивала свои салфетки вручную на один и тот же сюжет: разноцветные птицы в райских садах, где на всех деревьях росли цветы, а земля была пухом.

В тот вечер я отказалась от свинины на ужин. Мама догадалась почему, насупилась. Играть в футбол с деревенскими я не пошла.

На завтра от скуки сходила попинать мяч. Погладила поросят. Через неделю ела суп на свином мясе. Мяса больше не было никакого, а футбол, лапта, прятки и салочки разгоняют аппетит будь здоров. Мама приговаривала, что ещё в древности люди приносили животных в жертву. «Закон жизни, он такой, его не изменишь», - говорила мама. По её логике, мясник выходит божественной профессией. Столько жертв богу! Одних куриц сколько полегло. Ради бульона.

**МАМА АННА**

Мы каждое лето резали свинью. В Москве в перестройку мяса мало было. С мужем забивали сумки кабанчиком и везли на себе в город. Я тащила по сумке в руках, с репчатым луком, репой, помидорами, семечками и, если хватало сил, кабачками. Муж нёс рюкзак на спине и две сумки в руках. В рюкзаке могла поместиться Катерина или Настя. Мы его набивали доверху, и всё мясом убитого кабана, салом, картофелем. Мой отец всё повторял: как Иван его тягает, даром что еврей.

Они вообще хорошо Ивана приняли. Высшее образование для них, на тебе, важнее корней. Я так боялась, когда ехала их знакомить, и надо было его фамилию вслух сказать. У нас все на селе – Ивановы, Петровы, Коротковы, Горбатовы да Морозовы. А тут – непроизносимое, нерусское, режущее слух Фильдман. Ужас какой, скажут. Стыд и срам, скажут. Не могла в Москве кого получше себе найти, скажут. По углам шептаться будут. В глаза ничего не скажут.

Сумок на колёсиках, с которыми сейчас все летают в самолётах, тогда не было. Тяжко было морально. Помощи ждать неоткуда. С неба помощь не приходила.

Всё тащили на себе.

Букву «ф» деревенские часто заменяют на «хв». «Что за хвокус такой!» - говорят. Я тоже раньше такой была. Хорошо, что сейчас знаю, как правильно. А «фейерверк» они и не выговорят. Трудно говорить о том, чего вы никогда не видели. Катя в деревне быстро переходила на наш диалект, чем злила Ивана.

- Что Катя за человек?

До сих пор не знаю. Иногда кажется – понимаю её, а иногда – как с инопланетянином. Инопланетяночка моя родная. Тот случай в деревне, с Лукерьей и Николаем, ну как она могла? Зачем вмешиваться? Сплетен сколько тогда гуляло по селу, мне хотелось в уши ваты понапихать. Ругала её, а она молчала, как язык проглотила, ей-богу, ни слова. Я ей рот силой открыла, чтобы язык проверить. Язык на месте, и куревом несёт. Начала кричать на неё - она улыбается. Вывела меня из себя, стыдно рассказывать, я ей тогда под зад влепила, легонько совсем, но она как ошалела. Голову теряет, когда её бьют, даже если не больно. Покраснела вся, глаза бешеные, кинулась к моей сумке, достала оттуда пачку сигарет, швырнула. Я поднимаю: пачка пустая. А она опять стоит, улыбается. Тут я догадалась, что это она подглядела, что я курю, и выкурила всю мою пачку, назло. Тот редкий раз, когда я её поняла.

Всё лето то самое не разговаривала со мной. Я знаю, она обвиняет меня в приземлённости, но я хоть убей не понимаю, зачем она то сделала. Она всегда думает, что одна права. Родителей никто не слушает, а ведь часто родителям виднее, из-за опыта жизни, даже если они не очень образованные. Жизнь всех учит, никуда не деться.

Про эксперимент её тот вообще молчу, стыдоба. Как вспомню – аж трясёт, мелко-мелко. Ладно бы по любви, а тут – опыты ставит. И трусы те ещё. Отец её тогда чуть не убил. Куда ни глянь, всё ей хочется по заднице надавать да в комнате запереть. Но рука не поднимается: она же хрупкая. А может, и просто рука у меня на неё не поднимается. Откуда я знаю почему.

**КАТЕРИНА**

Моя мама всегда думает, что скажут другие. Когда папа после перестройки устроился на работу в иностранную фирму и у нас появились деньги, она сразу же попросила у него шубу и иномарку. Как у всех, а главное – как у тёти Нины из тридцать пятого дома. По выходным она покупала самую лучшую колбасу, в обсыпке, дорогую. И всё пыталась меня одеть, как на модных картинках в журнале, чтобы я, говорила, как куколка выглядела. Одежды мне много покупала. Я не хочу, как в журнале.

Я знаю, это плохо, что мама меня раздражает. Я её люблю, ты не думай, просто она так странно себя ведёт, что я за неё краснею. Она всегда ласковая и такая вежливая с моими учителями в школе. Не по-настоящему ласковая и вежливая. Дома она нормальная, а в школе миссис улыбка прямо. Превращается в женщину с аккуратной улыбкой. Некоторые учителя в ответ превращаются в людей с аккуратными улыбками. Ну, не в людей, это для них слишком, а, скажем так, в педагогов с аккуратными улыбками. В ноябре том стоят вот так они, поливают друг друга прописными вежливостями, я достала из рюкзака коробку с конфетти и им в лицо кинула. Конфетти я готовила ко дню учителя, меня в классе ответственной за них назначили. Не знаю, что на меня тогда нашло, обычно я тихая. В тот раз мне до одури захотелось, чтобы много людей рядом было и чтобы все кричали, посрывали бы глотки. Вот я и кинула.

«Бла-бла-бла-бла…» - говорит русичка.

«Да-да-да-да», - кивает мама.

Благоприятный момент.

Бросок. Баюкающий шелест конфетти в воздухе.

Взрыв.

Неблагоприятный момент.

Орали они обе. У них в тот момент было неподдельное согласие, без купюр. Надежда Ивановна, русичка, кричала, а в уголках губ с правой стороны прилипли две бумажки, жёлтая и оранжевая. Я никак не могла понять: столько воздуха от крика выходят из её рта, как они держатся?

- Что сказала мама после?

Не помню.

- Честно не помнишь?

Нечестно не помню.

- Ты не любишь следовать общим правилам, верно?

Да мне всё равно. Я ж не революцию устраиваю.

- Это с какой стороны посмотреть.

Я всё это делаю, потому что я эгоистка.

- Новый поворот. Мы тут с тобой скоро роман напишем.

Я начну, а ты закончишь. Я правда эгоистка. Потому что, когда я делаю что-то, ну, такое, вопреки всем или громкое, я делаю это потому, что не могу перестать об этом думать. Я конфетти в них кинула, потому что думала в тот момент только о себе. И бездомных котов я спасаю не ради них, а все думают, что я такая добренькая. Я, если вижу комок в грязи, такой же комок внутри появляется, и я дальше идти не могу. Приходиться спасать. Для себя, понимаешь. Я всегда думаю только о себе.

Моя мама – моя противоположность. Может, потому, что у неё в деревне каждый смотрел, как живёт другой, а потом обсуждал и осуждал. Кто что купил, кто во что одет, кто хорошо пропалывает огород, а кто халтурит, кто с кем гуляет и кто кого сглазил. Мама любит мочёные яблоки, а я – упавшие с дерева, с мятым боком. Она запоминает всех актёров в кино, а я – не люблю кино. Моя мама сильная и спокойная, а я слабая. Мне не нравится мамин запах, а саму маму я люблю. Мы с ней – одно лицо, так все говорят, кто нас видит.

Мама, она даже не заступилась за нашу Лушку тогда, деревенскую. Она всё повторяла: «Вот не повезло, какая жизнь у человека. Но не можем же мы вмешиваться». Ну как так, не можем? Она мне на день рождения открытку подарила, там в самом конце было написано: «Сам трудный узел развяжи, поверь в успех. Нет невозможного, скажи, я человек». А через месяц - «Не лезь». Я, может, хочу лезть, хочу повыше. «Ну что ж делать, придётся гореть в аду», - так Гек Финн говорил, когда негра спасал. У нас у одного деревенского прозвище Гек было, звучало как Хек. Знаешь, почему его так прозвали? Он постоянно, через слово, звук «эк» вставлял, но с придыханием: «(Х)ек как у неё славно вышло, я б, (х)ек, так не сумел», - это он про шавочку, которая полёвку поймала. Страшнее всего для Хека была его собственная тень. Нечаянно словит её взглядом, и только ёжится да «эк» своё повторяет, причитает. «(Х)ек, родимая, дюже ты меня напу(г)ала, (х)ек. (Х)ееееек, даааа. (Х)ееек». Интонация его взлетала до небес и оттуда ухала вниз. Все деревенские зависимы от взлётов и падений интонаций. Тянутся к музыке по-своему. В деревне говорили, что Хек свою жену убил, когда она заболела, и съел. Но мама рассказывала, что он её так любил, что не смог бы убить, и кусок бы её в горло не полез. В деревне часто придумывали страшилки, а страшилок под боком не замечали. Страшнее всего – собственная тень.

- Ты причины всего видишь в деревне?

Все ж оттуда вышли, там и причины. Я хочу на перерыв.

**ПРАБАБКА ЛИЗА**

Ко мне всего сваталось семь молодцов. Семь! В деревне я на высших счетах была. Я первого любила, душеньку моего, но у него ни копеечки за душой. Отец меня за шестого отдал. У него дом новый, сложенный, деньги под подушкой сховал - и сколько! Он кулаком был. Работал – и прятал деньги. Снова работал – снова прятал. Ничего не тратил, всё прятал. Скрытный человек.

Как я любила своего Ванечку, как плакала, когда шла под венец. Больше я его, Ваню, ни минутки не видела: скоро он из деревни ушёл.

Говорят, заделался охотником. Птиц ловил и девиц. Нашёл однажды красивую, птицу, любовался каждый день, задумчивым сделался, насвистывал себе под нос что-то. Вскоре решил жениться на дочке местного кузнеца. Птица улетела. Ту птицу я видела. В поле была - она мимо летит. Всё рядом, кажись, руку протяни и погладь, а мимо проскользнёт – и не угнаться. Помню хвост её многоцветный и хохолок зардевшийся. Не ястреб, не сокол - неизвестная, чудная птаха. Я её яблоками приманивала, яблони в тот год разродились все как одна, но она не захотела. Мимо меня покружила, закружила и улетела. Через год Косой, почтальон, весть принёс: птица выклевала глаза Ваниному дитю. Как я тогда плакала, как не хотела верить! Видно, все женщины одинаковы, ревнивы. Кому видно, кому нет, кому белый свет, кому тёмный свет. Кузнец сковал для неё клетку, чей замок, как захлопнется, больше не откроется, и теперь только думает, чем бы приманить её туда, отомстить за дитя. Или не птица это была, а одна из девиц, обиженных на Ивана. От горя какие только превращения не происходят. Я на своём веку повидала немало.

- Например?

Кто плохое помянет, тому глаз вон.

- Пословица?

Под руку попалась.

- А что в руках?

Телефон мобильный.

- Для чего?

В игрушки играть. Я ещё и не на то способна. Я жизнь люблю, в ней сколько всего было. Много плохого, а больше хорошего. Я в девках и в начале замужем дюже горевала. Потом всё наладилось. Когда мужа раскулачили, сослали его на Алтай. Я в деревне засела, что мне за ним ехать. Он и рад был. Не нежной я женой оказалась, не понимала его. Да кто ж его поймёт, если он деньги все накопленные то в печке, то под подушкой хоронит.

Сам же и забыл, затопил печку, а деньги не вытащил. Бегал потом по заднему двору, причитал, рвался повеситься, но не повесился. Уехал на все четыре стороны. Мир, кажут, круглый, но мы больше не виделись. Если Бог с меня спросит: «Почему не жила с мужем?», я честно отвечу, что любила первого, а не шестого. Иногда жалею, что не согрешила тогда, с Ваней. Иногда радуюсь: чистой на небе буду, заплачу - чистые дожди землю напитают. Мне девяносто восемь лет, а я что только не делаю. Готовлю, в поле гулять хожу, коз дою. То моя чистота повлияла, Боженька дал мне жизнь. Жизнь и поле – они как-то связаны, да только я необразованная, не могу объяснить тебе как. Чувствую просто. А когда чувствую, начинаю танцевать, прямо в поле, босая. Только ты не рассказывай никому, это наша с тобой тайна, схороним её.

- Меня больше удивляет телефон.

Меня он тоже, до сих пор, удивляет. Тычешь в экран и диву даёшься: гадаешь на картах, а потрогать их не можешь.

- На какую тему гадания?

По мелочи всё. Взойдут ли подсолнухи летом, сколько свинят родится у свиноматки - на сносях бегает по двору, ни у кого такого живота огроменного не видела, - будет ли зима снежной и когда я умру.

**КАТЕРИНА**

Ты не представляешь, как крута прабабушка Лиза. Это мама моего деда. Ей скоро сто лет. Когда ей было девяносто два, она шла из деревни в деревню. Там километров семь, идти по дороге, дорога вьётся, захочешь прямо – не пойдешь. Пшеница с одной стороны, гарбузы – с другой.

- Что такое гарбузы?

Деревенские так тыкву зовут. В деревне всё просто. У них карета Золушки превратилась бы не в тыкву, а в гарбуз, а сама Золушка... Хотя нет, в этих местах так и не появилось своей собственной, пусть даже самой задрипанной Золушки: сквозь их леса ни один принц – слабаки - не продрался. Зато местные продирались и туда, и обратно, но какие из них принцы, либо дураки, либо святые.

Так вот, прабабушка шла и чего-то ей хотелось. Дошла до перекрёстка: налево поворот на Тишино, там волки водятся, прямо – там её дом, туда и надо. Направо пойдёшь, немного пройдёшь – пруд, заводь такая, где и люди, и скотина купается. Всё одно. Большой пруд, сколько водяных там - страшно себе представить, и каждый ведь за ногу может схватить, на дно потащить.

Мой бабушка была человеком с нервами что надо, она повернула направо. Шла себе неспешно, по пути подбирая то косточки гусей – в полях на домашних гусей охотились дикие лисы, то коней -  волки не стеснялись отбирать лошадей у людей.

Дошла до пруда, разделась, нырнула, поплыла. Пруд длинный, а человеку девяносто третий год пошёл. Шла мимо местная шпана. Увидели древнюю старуху: барахтается на середине пруда. Кинулись двое в воду как были, поплыли, но не догнали - прабабушка моя пустилась от них наутёк. Двое ребят, оставшихся на берегу, потом с восхищением по всем окрестным сёлам пустили на самотёк эту историю. Двое других, тех самых, в воде, предпочитали случай тот не вспоминать. Как девчонки. Мимоходом упомянули, что прабабка Лиза-то, мол, ведьма. Она же сама говорила потом, что давно так не смеялась. От души, повторяла, хохотала.

Деревенские говорят, что души у прабабушки моей нет. По мне, у неё есть и душа, и нервы. Сплетничают, что она дочку похоронила и на могилку ни разу не присела. А мне кажется, она понастоящее всех деревенских, моя прабабушка. Те голосили на разные лады, фальшивили, как могли, а она плевать на всех хотела.

- Хорошо ли в деревне на всех плевать?

Хорошо ли, плохо ли, долго ли, коротко ли, а она плевала.

- Сказками со мной решила говорить?

Сказки делают речь красивее, а дни интереснее. Знаешь, как интересно боятся ночью глядеть в колодец. Пока воды нальёшь, пока одним глазком на своё отражение глянешь – столько адреналина. Я видела в колодцах костлявых мёртвенных стариков, видела посиневшие пальцы, которые тянули коромысло, слышала писки русалок, а вслед за тем – свои визги. Тени, которые тебя окружают, всё ближе и ближе, луна, от которой нельзя спрятаться, но можно сойти с ума, скрежеты, шорохи, шёпоты, которых не должно быть, но которые идут за тобой по пятам, трогают тебя, сливаются с твоей тенью. Съедают тень, поглощают её, сотворяя тень всеобщую. Первобытный страх – никакой экстрим с этим не сравнится, никакие прыжки с парашютом. Я знаю, что говорю, я прыгала - не в колодец, с парашютом.

- Давно?

Попробуй, и ты тоже будешь прыгать потом вечно. Ты прыгаешь одним человеком, приземляешься другим.

- И сколько раз ты прыгала?

Шесть.

- Это сколько ж в тебе людей?

Ты как алхимик – всё в шутку превращаешь.

- Значит, давай резюмировать. Первобытный страх страшнее свободного падения.

Знаешь, это очень страшно, но вместе с тем ты как бы взрослеешь. А это ведь правильно – взрослеть. Иногда мне навсегда («синоним слова «навсегда» - «на веки вечные», пишется в три слова, в отличие от «точь-в-точь», которых тоже три, но пишутся через дефис, - долбила русичка в школе) хочется остаться четырёхлеткой, и именно в деревне.

 **БАБКА ФРОСЯ**

Спи, дитя моё, усни!
Сладкий сон к себе мани.
В няньки я к тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Улетел орёл домой,
Солнце скрылось под водой,
Ветер после трёх ночей
Мчится к матери своей.

Ветра спрашивает мать:
“Где изволил пропадать?
Али звёзды воевал?
Али волны всё гонял?”

“Не гонял я волн морских,
Звёзд не трогал золотых,
Я дитя оберегал,
Колыбелечку качал!”

Эту колыбельную я Катюше часто пела. Она была уже немаленькая, но как любила её слушать. Катя, когда приезжала, спала только со мной. В холода я на палатях спала, чтоб поближе к печке, а летом на кровати. Катерина так радовалась перинам, будто в Москве своей спала на каменном полу. Москва – она жёсткая.

Я ей перины больше всех взбивала – не нарочно, само как-то выходило. Я обычно сразу после вестей вечерних шла в кровать. Но с ней терпела до десяти. Она и не подозревала подвоха, думала, я всегда в десять ложусь. Когда не шла гулять – ровнехонько в десять у кровати уже кружила.

Уляжемся мы с ней на перину. Она сначала помурлычет себе там что-то под нос - он один из перины торчит, лицо всё утопает. Помолчит-помолчит, потом просит: бабушка, расскажи что-нибудь.

Я только этого и жду. Всю зиму жду, всю весну жду, все лет**а** жду. Никто не просит моих историй, а она просит и слушает, переспрашивает, даже если я повторяюсь. Я часто повторяюсь: не могу остановиться. Лежу и чую, как ей любопытно. Очень живая внучечка.

Я ей и про войну рассказывала, и про детство рассказывала. Всё боялась, а как, если истории закончатся? А они льются из меня без конца и без края, будто внутри меня какая-то бездонная коробка, в которой всё хоронится, даже то, что забыть хотел. «Без конца и края!», - говорю я ей. «Без конца и рая», - дразнит она меня.

**КАТЕРИНА**

Перед домом стояла деревянная лавка, а в паре метров от неё рос старый ясень. Одна из ветвей ясеня склонилась почти параллельно земле. В то лето мой дед придумал самую крутую штуку в мире: повесил качели на ту ветку. Он выпилил дощечку из дуба, отшлифовал её, сам проверил верёвки на прочность, настоящие тест-драйвы устроил, а затем повесил качели. Одна верёвка была длиннее другой, потому что всё-таки ветка росла не совсем ровно, но сами качели были ровными, параллель с землёй была на уровне.

Качели отличались от тарзанки. Небо и земля. Они были волшебными. Ну какими им ещё быть, если деревня стояла на семи холмах, дерево росло на холме, качели висели на дереве. Граница миров.

Я приросла к этим качелям.

Ты садился на качели – как цыпленок на жёрдочку. Отталкивался ногами от земли, земля уходила из-под ног, и ты летел, разглядывая облака и чужие огороды. Высота, скорость, воздух. Свобода, равенство, братство. Раз, два, три. Счастья полные лёгкие. Над головой – небо, ради которого живёшь. Рад неба и больших белоснежных облаков, которые так бегут, что не жить невозможно. Вот оно, счастье: облака и ты на облаке. Наверное, когда Бог смотрит на нас сверху, сидя на облаке, он так же счастлив.

Когда у меня был мешок с мыслями в голове, я шла на качели. Мысли не любят балансировку – это я давно заприметила. Встанешь на скейт – мысли пошли вон. Потому что если во время катания влезет одна такая мысль, непременно упадёшь. Вот просто всенепременнейше. Я не знаю людей, которые любят падать. Я здесь как все.

Когда мыслей не было, я всё равно шла на качели.

Летая и мечтая, в один день с качелей я увидела, как Луша мечется по огороду. В двух своих юбках, в косынке, повязанной под подбородком, что прибавляло ей лет двадцать, если не больше, она серпом срезала траву. Кто срезает траву серпом в девяностые, это же прошлый век. Какого чёрта. Даже в деревне уже никто не работал серпом. Это неудобно, на руках вырастают мозоли, которые, добитые другой работой по хозяйству, кровоточат. Серпы висели у всех на задних дворах – в деревне редко что выкидывали. Повешенные.

Она бегала кругами, муж смотрел на неё, хлыст в руке наготове. Они держали в хозяйстве старую кобылу, единственные в деревне, остальные брали лошадей у колхоза. Хлыстом Николай пользовался в двух случаях: с Лушей и с кобылой. Луша смотрела в землю, плечи ушли вперёд, косынка придавала ей какой-то иконный вид. Николай взмахнул хлыстом. Лушка упала. Кровь проступала. Я заорала, чтобы он себе в жопу этот хлыст засунул. Николай поднял на меня глазёнки и глядя в упор, подхвати пушинку-Лушку за шкирку с земли и что-то нашептал ей. Лушка покорно взмахнула – ударила сама себя этим самым хлыстом.

У меня закружилась голова, и я слезла с качелей. Пошла в палисадник собирать яблоки.

**ПРАБАБУШКА ЛИЗА**

Жили-были Лукерья с Николаем. Плохо жили, тужили, но ведь жили. Он её от позора спас, она его – от одиночества. Он не пил – редкое дело для деревенского мужика. Он её бил – такого добра у нас навалом. Работящие оба, дом в три комнаты. Родила бы Лукерья вторую детку, он бы пришёл в себя. Но в первый раз рожала она одна-одинёшенька, на схватках выброшенная роднёй вон. Неумёха, а ни к кому не пошла, заползла в ближайший кустарник – стыдно за брюхо было. Девчушечку свою выходила, а других заплодить не смогла. Может, сокрытую кустами, Бог не углядел, что помочь нужно.

**КАТЕРИНА**

В то лето, про которое ты спрашиваешь, было много похорон. Сумасшедшая Люська, Дуська с холма, мой Серёжка, дёд Козёл и Ленкина бабушка Хронька. И всё.

- И всё?

И всё. А ты знаешь, что все древние старухи - древние люди - на кладбище ведут себя по одному вековому сценарию? Представь себе. Новый век на дворе, а они со старым никак не расстанутся. Сумасшедшую Люську хоронили – не отличить от похорон Люськиной прабабки, тоже Люськи.

Кладбище на селе небольшое, почти квадратное. Деревенька крошечная, погост только для своих. Окружён здоровыми тополями с их белёсыми стволами. Вблизи могил деревья не рискуют расти - боятся ветками нащупать не то, что надо. Хотя, как по мне, скелет в объятьях вековых корней – это очень ласково, очень нестрашно.

С косами на кладбище тоже ходили: траву же надо косить.

У старушек нашей деревни было расписание походов на погост. Соблюдалось неукоснительно. Когда кто помирал, график сбивался, понятное дело. Если старая заболевала, всё равно кряхтя шла. Исключением были те, кто так болел, что не слезть с печи. После перестройки девяностых печки по щучьему веленью уже не расхаживали, присмирели (раньше было лучше). За таких больных дело делалось другими, встающими и идущими на кладбище.

По всем деревенским плакало училище Щепкина. Они, в свою очередь, плакали по любому поводу.

Идёт бабка на кладбище. Снимает старую, заляпанную отходами юбку и кофту, умывается с мылом, надевает белую блузку и яркую юбку. Трусов не носит: ни старых, ни новых, ни на праздник, ни даже на похороны. К доктору только надевает. Неудобно было – не привыкли. Юбки длинные – лишнего никто не углядит, а углядит, и чёрт с ним, ещё об этом думать не хватало.

Сборы – как в Крестовый поход. Советский деревянный сервант, утыканный фотокарточками родных – мастхэв деревенской избы. Внутри серванта («шкапа», говорил дед) вкусно пахнет. Московские конфеты, местные козинаки, чай и кофе, а не кофейный напиток, и даже волшебное немецкое какао «просто добавь молока» – там было всё, чего может пожелать твоя душа. Сладкая жизнь сосредоточилась именно здесь, в потрескавшемся шкапу.

«То не забудь, это возьми, крестик на шее? Повесь его. Карамельки прихватила? Шоколадные не бери: дорогие, сами съедим». Меня отправляли нарвать луговых и садовых цветов. Луговых – каких найду. Это я любила: у нас в полях росло всё, но главное – васильки. Синие пятна под синей космической равниной – частички неба, предпочётшие жить на земле.

Садовые были одни: жёлтые рудбекии у соседа. Их я тоже любила. Это было взаимно: каждый год мне дарили эту желтизну на день рождения. Родилась я в июле, и все, кто меня поздравлял, срывал по пути у соседа дяди Козла рудбекии. Они не прото желтее, ярко-жёлтые. С тех пор жёлтый - мой любимый цвет.

Дядя Козёл не злился, рвать разрешал, шуточки отпускал. Козёл он, потому что фамилия Козлов. Ну и ещё потому, что его отец – настоящий козёл, так говорили в деревне. В глаза его называли дед Козёл, а за глаза – дед Козлина. Его внуков, троих, козлятами величали. Козлёнок старшой, козлёнок меньшой, козлёнок второй. Смешно. Все козлята умерли до тридцати лет. В деревне говорили, что сгорели из-за порчи: в молодости сумасшедшая Люська по тайной причине прокляла деда Козла. На кладбище могилки козлят и Люськи совсем рядом: ирония судьбы или всепримирение, не разберёшь. А может, ничего и нет: Люська проклинала каждого третьего, даже ходивших по дворам с товаром цыган, ходивших по дворам с библиями братьев Иеговы и попа, к которому она ходила сама - помолиться.

Букет цветов в левую руку – тот самый, луговой, из васильков - и мы чинно идём на кладбище, улыбаясь солнцу, разморенной мошкаре, пшенице, гречихе, местным собакам.

Мы улыбаемся до последнего. Смеёмся и щебечем о повседневном, входя на кладбище. Вход – это скрещенные ветви вишни в конце тропинки. Когда ветви щёлкают за спиной, бабушка меняется. Она с воплем бежит к могилке мужа, родителей, детей, кидается на колени и голосит, причитает, подвывает: «Прости меня, грешную, пусть тебе будет там хорошо». Подвывает, слёзы льются на новую блузку. «Зачем ты меня тут бросил, одну-одинёшеньку, сыночек мой ненаглядный, кровинушка моя р**О**дная. Я живая, а как мёртвая, а ты мёртвый для меня как живой». Минут пятнадцать бабушка ревёт, если не больше. Ты можешь себе это представить? Это вообще что?

- Традиции важны для деревенского быта.

Получается, любой человек может вмиг зарыдать?

- Если с детства заложена такая установка, если он рос с осознанием того, что так правильно – может.

Они не переживают этого на самом деле. Бабушка успокаивалась, как только мы возвращались домой.

- Почему же не переживают. Переживают. Просто по-другому эмоции свои показать не умеют.

Точно так же, как по умершим, рыдала моя бабка, когда мы уезжали в Москву.

- Катя, а если посмотреть на это как на важные местные ритуалы?

Да какие там ритуалы, это блажь. От недостатка эмоций, от переизбытка ли. Вышел из избы – и пошло поехало, помощи не надо. Сейчас, расскажу, не спеши. Надо же всё вспомнить. Ты сам говорил, что надо вспомнить всё, самую мелочь, как если бы для полицейского протокола.

- Ты сама лично сталкивалась с полицейским протоколом, не понарошку?

Что-то такое было. Смутно помню. Вроде, сидела, человек был в форме, комната, запахи… Это неинтересно. Про кладбище в сто раз интереснее. Или вот ты знал, что деревенские старухи каждый день встают в четыре утра, чтобы хлопотать по хозяйству. Хлопоты – верное слово. На польском оно означает «мучения». Чистая правда. Деревенские старухи, все как одна, чуют скорый рассвет. В кровь он им влит. Натягивают в предрассветной тьме блузку и юбку - повседневные, то есть затасканные, залатанные, а не праздничные, которые не ношенные, на выход. Потому что, понимаешь, когда мечешься между свиньями и укропом, между завтраком и дойкой, и тысячей других дел, наряжаться смысла нет. День за днём, круг за кругом. Они устают, конечно, до смерти, но и привыкают тоже.

В четыре ещё темно, минут через десять начнёт светать. Бабушка разжигает огонь в печи. За окном занимается заря. Поленья заготовлены с вечера, сложены в сенях или перед печкой в зале. Закидывает в печку рогачами с десяток чугунков. Чугунки тоже приносятся загодя. Стоят в хоромине в ряд, ждут своего часа. Смирные, вежливые, вкусные. Там еда для всех. Каша для меня, замес из отходов для свиней, молоко в бидонах, чтоб оно стало топлёным, хлеб – не потому, что свой вкуснее, а потому что заводской привозят на грузовике раз в неделю, в субботу – святой день и развлечение. Ещё много всего ныряет в печку с бабушкиной помощью. Обдаётся огнём, перерождается в съедобное.

Чугунки некоторые были огромные. Сжавшись в комок, я туда помещалась. Чугунки – это чугунные горшки, полезный предмет в хозяйстве. В сказках в них варили всё, кроме главных героев. Те сбегали. В детстве мне было жалко одиноких бабок. Я мечтала, что хоть один не сбежит. Но на то они и сказки, что всё невзаправду – сбегали от старух все, кто ни попадя.

Все чугунки бабушка закидывала в печку сама. Поднимала их рогачами не произнося ни слова. Хрупенькая бессловесная старушка с широко расставленными ногами – для устойчивости. Адская работка в своей бесконечности: закидываешь, закидываешь. Первый, второй, третий, четвертый… десятый. Вот и рассвело. На другой день – первый, второй, третий, четвертый… десятый. Пятнадцать лет прошло – закидываешь, закидываешь, закидываешь. Выходных нет, потому что куры, гуси всегда хотят есть. Как живое существо не покормить? Жалко птичку. Шестьдесят лет прошло.

Поставить чугунки в печку – это двадцать минут из семнадцатичасового рабочего дня.

- Ты по часам подсчитывала?

Конечно, подсчитывала. Мне бабушку жалко было. Ей было плохо. Хотя сама она, похоже, уже не могла по-другому.

- Ты зачем за других решаешь, что им плохо?

Сам так попробуй. Ты выбрал профессию, теперь ходишь на работу каждый день, в этот мягкий кабинет, зарплату получаешь, вечером домой идёшь, к жене пристаёшь.

 - Катя!

С поцелуями. Моя бабушка так не могла. И все в её деревне тоже. Не странно, что она часто говорила: скорей бы помереть.

- Кать, а какая у меня профессия?

Доктор.

- А конкретнее?

Не отвлекай меня на глупости. Я тебе про деревню рассказываю, а ты – всё на себя одеяло тянешь, потягушечки нелепые.

-  Почему ты хочешь говорить про деревню, а про другое не хочешь?

Деревня – это такой потерянный рай. Сам посуди: меня привозили туда, в эти поля и луга. Там всё цвело, там трава была такой зелёной, что не то что босиком – щекой жался и улыбался. Ухо прикладывал – и всё пытался уловить стук копыт – поначиталась былин на свою голову. Там земля пахла по-другому: потому что чернозём – он сам по себе душистый, а пропитанный местной пыльцой, он переливался всеми возможными, чаще невозможными, вкусами.

Девять месяцев Москвы и долгожданное, блаженное, благоуханное лето, в центре которого – важное событие, событие жизни, единственное и неповторимое. И через год снова – единственное, незабываемое, неповторимое. «Спешите, и вы увидите! Да что там увидите – почувствуете каждой клеточкой уставшего тела и отощавшей души! Только в июне, июле и августе абсолютно бесплатно вам предоставляется уникальная возможность! Три месяца в месте, где вас жалеют и любят просто за что, что вы есть!» Потому что бабушка и дедушка тебя любят за сам факт твоего рождения. Так смешно о тебе заботятся: не ходи на рынок в город, заблудишься! Не открывай цыганам дверь – украдут! Это я-то заблужусь, которую из окраинной многоэтажки в добрый путь на метро каждый день отправляют? Это я заблужусь, которая разговаривает с каждым встречным предметом?

- Здесь поподробнее.

В деревне были топлёное молоко с топлёными сливками сверху, как мороженое. Лучше мороженого. Лизнёшь сладкую пену – улетаешь в рай. Были шалаши и землянки, мы их строили сами. Кролики в клетках на дворе, с которыми разрешали играть даже в доме. Я их пускала на кровать, они пугливо озирались, сидя на огромной перине. Им было непривычно, ни травинки вокруг и лапы утопают. Непривычные к комфорту, бедняги. А ты на перины лез, словно бог на Олимп. Когда мне было года четыре, я не могла добраться доверху – мала ещё - забиралась по решетчатому бортику кровати, карабкаясь как по лесенке. Чувствовала себя победителем, когда тело начинало утопать в этой перине, а за окном чирикали птицы или чиркал по крыше дождь. Потом подросла – и всё стало проще. Мир мельчает, когда ты растёшь.

Да много чего в деревне жило-было. Старинные деревянные расписные сундуки, на них – древние запоры, размером с твой кулак, да и по сути, что твой кулак. Внутри сундуков – пенсия, водка и одёжка для похорон. Так надо, а против традиций идти – не надо. Так говорил Захар-ус. Мы были почти соседями, я за ним и его женой часто подглядывала. Усов у него отродясь не было, у его прадеда были, и у деда были. Человек-традиция решил не отращивать усы, поэтому со временем превратился в Захаруса. Ему нравилось: важностью пахнет. На самом видном месте в сенях у него висела картинка с павлином. С хвостом крупным планом, даром что без усов. Хвост занимал почти всю картонку, голова и тельце птички были крохотными, непропорциональными. Казалось, что художник никогда не видел павлина, выдумал его. Картинка была глянцевой и какой-то старательной, что ли.

В деревне можно было залезть на дерево и часами следить за тем, кто что делает. Яблоки грызть. У моего прадеда был целый яблочный сад. Сотни яблок, все преразные, многие сорта вывел он сам. Представляешь, таких больше нигде не было, ни в одной точке Земли, близкой ли, далёкой ли. Прадед обожал скрещивать растения. Его называли Крестьянин, а сад – Крестьянский сад. Прадед умер – и каждый в деревне посчитал своим долгом выкопать по яблоне для своего палисадника. Так единого сада не стало – остались три плакучих яблони, - неплодоносные. Сад разбился вдребезги, но превратился в десятки яблочных осколков. До сих пор не знаю, осколки – это хорошо или плохо. Разбить посуду – на счастье, говорит мама - суеверит. Осколки – это некрасиво, говорит папа – он верит лишь в целое.

Когда я приезжала в деревню, я ела яблоки на обед и ужин. Самые вкусные - «Красная Шапочка» и яблоки от яблони, росшей в палисаднике перед нашим домом. Она была безымянной. Яблоня с потерей памяти. Прадед вывел сорт в последние годы своей жизни, гордился им. «Красная Шапочка» же росла на каждом участке. Идёшь и в корзинку себе собираешь. Вместо корзинки – подол сарафана в рисунок со слонами. Сядешь на пенёк – съешь яблочко. И всё это со мной было, понимаешь? Я могла разговаривать с яблонями, видеть фениксов в темноте – потому что нет фонарей, выдумывай, что можешь. Болтала с печкой – в сказках они добрые, в жизни полезные. Знала, как выглядят гуси-лебеди, и лепила колобков, отправляя их в самостоятельную жизнь, благо что помнила – лисы близко к деревне не подходят. Я люблю деревню. Место, где было много яблок. Они были на деревьях, они падали, они цвели и гнили. Трясёшь яблоню, глядишь вверх – и вот он, твой мир. Яблоки всегда падают сверху – такая история.

- Катя, а какая она, твоя история?

Ты всё про случай в деревне?

- Да.

Как ты мне надоел. Обещала – расскажу. Это тоже немножечко и моя история, я же тогда за убийством подглядывала.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Встала ночью в туалет. Хожу редко, а тут невтерпёж. Шмыг во двор, муж за мной. Разбудила я его, когда лезла впотьмах. Думала – он за куст, а он обождал меня, поднял на руки. Гулять, говорит, пойдём. Я ему, сонная, завтра свёклу сажаем, не выспимся, квёлые будем. Он мне: куда денемся, на том свете выспимся.

Вышли за ворота. Ни зги. Катя меня однажды спросила: «Ба, что такое «не зги»? А я знаю только, что это когда, как ни гляди, ничего не видно, ни единого чёртика. В безлунные ночи так. Есть хоть краешек луны – так не скажешь, уж не слепой. Нет луны – как нет глаз. Я любила полумесяц и не любила полную луну. Полная она дюже мутная и сильная. Полумесяц же – из детства. Мамка говорила, за рогалик можно зацепиться и улететь в чужие земли. Маленькой я хотела, а сегодня бы и позвали – не поехала, надо оно мне, в чужие земли.

Так и объяснила Кате: поверьями, не наукой. Стыдоба. Плохо быть необразованной, ничему внучечку не научишь.

Гуляли до утра. Ту ночку ни в жизнь не забуду: поднял меня на руки – и кружил, кружил, кружил. Что на него нашло – ума не приложу. О нём и до свадьбы в деревне говорили, что чудной. Кружил и пел. «Живёт моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет ходу никому… пойду я к милой Фроське и брошусь в ноги к ней, была бы только ночка, да ночка потемней». Ещё пел «Как же мне хочется песнь посвятить тебе, только в словах я хромой».

Ни кола, ни двора не видно, а мы пляшем.

**КАТЕРИНА**

И было решено. Мамой и папой. Покрестить меня в то лето в деревенской церкви. По пути к церкви из первых встречных нашли крёстного и крёстную. На обряде настояла бабушка: негоже вышло, ребёнок каждое лето в деревне проводит, а не окрещён. Люди так не живут.

Власть попа в деревне огромна, но я, малявка, этого не знала. Шёл девяносто шестой год, тёк, я бы даже сказала, истекал по сроку годности, накануне я насмотрелась телевизора, и теперь боялась, что на меня нападут чеченцы. Ведь чистое поле идеально подходит для таких целей. Была рада, когда мы подъехали к церкви: укрытие. В детстве ты всегда в центре мира. Потом растёшь – и в бок идёшь. Интересно, есть ли в этом смысл. Хоть в чём-то же он должен быть.

Сборы в путь были масштабны. В день кх (крещения Христова) бабушка с дедушкой быстро приладили огромные колёса к телеге, одолжили у совхоза лошадь, впрягли её в сложную, скреплённую ржавыми болтами конструкцию. Я покормила её морковкой, дёргая рукой каждый раз, когда лошадь пыталась лизнуть ладонь. Морковка была с ботвой, я её вырвала с огорода позади дома. В Москве морковь продаётся уже без ботвы — никому не нужный нарост.

Мы сели на колеса, и с высоты деревенские холмы стали ещё выше. Было чуть-чуть страшно: неделей раньше груженая телега на повороте опрокинулась, дедушка кубарем полетел на траву, и всё на моих глазах. Травм не было, а сердце сильно билось. Моё и лошади точно, а дедушкино — не знаю, он у меня никогда ни в чём не признаётся, всё прибаутками общается, а о важных вещах не говорит, о войне — не говорит, вообще ни слова, а у него медали, и в плену он был, и с партизанами, и на фронте. Вот уже полвека молчит: ну что за человек, интересно же.

Мы ехали, а мир просыпался. Дорога пыталась затеряться средь полей, но никогда не исчезала вовсе. Мне кажется, она была древней, потому что в другом месте эту единственную, вечную дорогу я себе просто не представляла. Менялись только цвета полей справа и слева, смотря чем засеют. В тот год справа колосилась пшеница — орехово-опаловая, до одури ароматная, а слева — посадки кукурузы, но початки ещё были мелкими, скрытыми бархатными листьями. Куколок из таких не поделаешь. В лицо дул ветер: на открытых пространствах он всегда сам по себе гуляет, а тут ещё лошадь припустилась.

Крещение меня пугало: было видно, что мама напряжена, было видно, что бабушка непреклонна, по дедушке, как обычно, ничего не было видно. Мы проехали старенькую мельницу — через неделю её сожгут ради того, чтобы открыть продуктовый ларёк, поджигатель никогда не будет найден. Во веки веков. Аминь. Вековая мельница вдумчиво работала. Мы проехали умирающий посёлок. Шесть серых домов набекрень. Мама сказала, в её детстве в этом посёлке даже начальная школа была. Но сейчас там было только шесть серых домов набекрень, два из которых рустовали, а оттого нагоняли жуть: неотъемлемое право всех покинутых деревенских домов. Но я люблю такие облезлые деревни, прямо с ума по ним схожу. Что это, извращение?

- Или любовь.

Ну да, тебе ли с твоим опытом и опытами не знать. Мы приехали, и долго, мучительно стояли в толпе таких же странно одетых, как и мы в тот день, людей. Волочащиеся юбки, под которыми можно скрыть все тайны женщины, колючие платки, запахи мирры и ладана — всё было непривычно, хотелось наружу, на волю. Поп говорил. Он был мерзкий: у него не волосы были седые — взгляд был седой. Два часа прошло — бесконечное время — поп говорил. Потом случилось страшное. Он подозвал меня к себе, и я пошла. Поп сказал мне раздеваться, и моё сердце упало. В двенадцать лет ты ощущаешь себя взрослой. Я не хотела раздеваться, когда вокруг взрослые. Поп был строг — и вот я уже в трусах. Остальных малышей раздели родители — это были полугодовалые младенцы. Мне сказали лезть в чан с водой, поп положил мне на макушку ладонь и трижды придавил на дно. Хотелось плакать, но под водой это бесполезно — слёзы исчезают, будто и не текли. Буддистская штучка, как ни крути.

Моё крещение длилось вечность – восемь с половиной часов. Недоумение сменили стыд, страх и обида. Поэтому когда при игре в футбол с деревенскими я потеряла крестик, я не плакала: я помнила, что в случае с церковью это бесполезно.

Когда всё закончилось (а новая духовная жизнь только началась), я увидела Мурзика. Он стоял в углу и сгибался от смеха. Его бабушка отвесила ему пару оплеух, но выглядела растерянной: ну кто хихикает на крещении. Мне конец: всем растреплет. Надменно посмотрела на Мурзика и отвернулась. Получилось по-королевски, но он заржал ещё сильнее. Показала ему фак, а он, в отместку, стал трясти свой член. Бабушкин удар поставил его на колени, и я расхохоталась. Смеяться мне не хотелось, но отомстить – это святое.

С обозом, рыночным и духовным, мы возвратились в деревню.

В то лето я сидела на крыше и всё удивлялась Лушке, которая ни минуты не присела. Моя бабушка тоже редко отдыхает, но хоть на чуточку по ходу дня присядет. А эта – заводная кукла. Куколка Луша. Душа моя, Лушка. ДушкаЛушка. Лушка-подушка. Интересно, о чём она думает, когда ходит со своим отрешённым, иконным лицом по огороду, средь «родненьких саженцев». О себе? Об этих самых саженцах? О побоях? О муже? О чём-то же она должна думать.

Лушка переместилась вглубь огорода, и я залезла на яблоню на заднем дворе. Навозная куча – слева, выше макушки Лушки. Справа – поленница. Оттуда выбежала крыса, я чуть не завизжала, хотя, понятное дело, где крыса, а где я. Шорох какой-то был, и Лушка глянула в мою сторону. Близоруко так. Потом подошла к поленнице и выбрала с десяток дров, одно полено с третьего ряда снизу потянула. Какая у неё логика в выборе поленьев? В момент выбора поленьев она думает о поленьях? Вряд ли, судя по тому же близорукому взгляду. А может, я всё выдумала, и она день и ночь думает о Николае, своём любимом, ненаглядном. А секс у них есть? Она вообще сможет вслух слово «секс» произнести или упадёт замертво? Ни жива ни мертва. Чёрт, о чём она думает?

Николай пришёл неожиданно. Лушка навострила уши, замерла, поспешила в сени. Мир замер, я ела яблоко и не слазила. Куда спешить. Может, мне озарение придёт. Правда, оно обычно под деревом приходит – у Ньютона там, у Будды, у хиппи. Я стану просветлённой, буду ходить по городам и сёлам, после общения со мной все будут светиться. Если их сзади стукнуть по голове, они будут гаснуть – типа выключателя получится. Я люблю придумывать чушь, когда нечем заняться. Изыди, чушь.

Раздался вопль, ещё один, а потом ко двору Николая побежали бабки. Вперемешку с собаками. Они бежали почти до дома Николая, а когда оставалось чуть-чуть, притормаживали и на цыпочках подкрадывались к окнам. Стаями. «Группы собак и стаи старух были замечены на улице Цветочная – центральной и единственной улицы деревни Вожигово» - не напишет газета «Колхозная зорька».

Я тоже побежала. Вниз с холма – свобода. Вверх на холм – сила. Добежать до двора – победа. Заглянуть в окно – сердце остановилось.

Оно честно остановилось, потому что когда я открыла глаза, меня лизал соседний пёс. Озадаченно смотрел на меня, вилял своим плешивым хвостом. Больше на меня никто не смотрел, все продолжали смотреть в окна. Я заглянула снова. Николай рогачом пытался достать Лушку, забившуюся под кровать. Тем самым рогачом – деревянная рукоятка, чугунный конец – которым он пару минут назад её бил. Бабки охали. Собаки молчали. Николай за косу вытащил Лушку из-под кровати. Она визжала, а он таскал её по полу, осыпая плевками и пинками. Бабки охали. Собаки молчали. Небо молчало. Лушка хрипела не крича. Голос кончился, и сама она кончилась. Он её таскал, как тряпичную куклу.

– Смирилась, значит, скоро конец, - сказала бабка Дуся.

– Бедная Лушка.

Небо молчало. Собаки молчали. Хрип Лушки истёк кровью, и Николай её бросил. Она лежала калачиком, брошенным ребёночком, а он пошёл во двор – мыть руки. Все бросились врассыпную, и я тоже.

Я залезла на дерево и сорвала яблоко. Потом стемнело, я выбросила яблоко – благодарите меня, черви – пошла в дом.

В доме висели иконы, работал телевизор, дедушка разгадывал кроссворд, мама шинковала поросячьи кишки. На моих глазах создавалась ливерная колбаса.

Мне стало тошно от колбасы, и я пошла на дерево. Снова сорвала яблоко и заставила себя его съесть. Деревня засыпала, цикады распелись. Если бы поднялся ветер, я бы улетела далеко-далеко, прямо с дерева. Я уже училась летать, но мне страшно: я улечу, а мама здесь останется. Мне очень хотелось расплакаться, надо было, но тут полетели комары, и я пошла в дом.

В доме висели иконы, работал телевизор, дедушка смотрел новости, а мама шинковала бесконечные поросячьи кишки, и на моих глазах создавалась бесконечная ливерная колбаса.

**ПРАБАБУШКА ЛИЗА**

На мне – моя любимая юбка. Под ней – ничего. Я свободная в ней. Без лишних уз. Хожу босая, а то – по старинке, в лаптях. От старых привычек бежишь всю жизнь. А убегаешь, ты знаешь, куда. Панталоны и башмаки я ношу только зимой – снег злой, куда деваться. Башмаки мне Аня подарила городские, модные. Я их летом в серванте держу. Всю жизнь лапти носила, на старости в башмаках модных шустрю. Прогресс он и в Вожигово прогресс. А в юбке своей любимой я кружусь. Когда кружусь – все глядят да галдят, что галчата у нас под крышей: черные, зыркие, беспомощные, оттого и орут. Мамку призывают.

Хочется подольше не помирать, поглядеть, что ещё напридумают. Ильич лампочку уже придумал, китайцы вон красные лакированные туфли придумали – я Ане уже наказала. Телевизоры и даже машины придумали. Антенна на крыше у нас стоит. Я жила при царе, при войне, при коммунистах. Один чёрт. А за новым как чудесно глядеть. Берёшь конфеты, и за телевизор. Забываешь всё, самого себя, а очнулся, и новый какой-то, получше, что ли, образования понабравшийся.

Вчера видела его, чёрта. Шёл за мной по пятам. Пятка в пятку. Я направо – и он туда кидается. Я назад – а он уже сзади. Вьётся, вьётся, то в узел завьётся, то по двум прямым разойдётся. Всё ему неймётся, а мне-то как неймётся. То ли прибрать хотел, то ли дороги совпали. Вона туда катись, показываю я ему за кусты. Молчит, зубы скрипят, мухи жужжат. Будет тебе, говорю. Молчит, зубы скрипят, мухи жужжат.. Душа тебе моя нужна, спрашиваю. Кивает, мухи сильнее разжужжались. «Подойди поближе, а то ты чёрный, не разглядеть тебя». Наспех прутик оторвала у дерева, перекрестилась и погнала его к колодцу. Хворостина ему пришлась не по нраву. Бежит, скулит, подпрыгивает, а что толку, к Богу ближе он не станет. Краем глаза вижу: под мостом правнучка моя сидит и все дружки её. Затаились от меня. Это их тайный шалаш, видать. Делаю вид, что не вижу их. Да и люблю я чертей гонять. Загнала его в ледяную воду. Крестить тебя буду, говорю. Он взвыл, да и сплыл. Не до разговоров ему по душам.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Сидим на лавочке, провожаем день. Я, кума и Зинка Морозова. Издалека заприметили Лушку. Глядит в землю, бредёт к нам. На плече – плетёнка-до верху клевера. Мы сразу попритихли. Подошла, добрый вечер, говорит, присела. А мы неприученные ко лжи, не вытерпели. «Как там Коля, Луша?», - спрашиваем. Смотрит, молчит. Оглохла, что ли.

- В окна вы давеча глядели, - говорит Лушка.

- Глядели.

- Все углядели?

- Я не сразу подошла, но рогачом, как охаживал, видела.

- Больно, – говорит Лушка.

- У меня мазь есть. Хочешь? – говорит Зинка.

- Я сама мазь купляю, она мне хорошо подсобляет.

- За что поколотил тебя, Луша? – спрашиваю.

- Тулуп его охрой обмазала.

- Зачем?

- Так красивее ж.

- Мужика на посмешище нельзя, уморишься, - говорит Зинка.

Лушка подняла на неё свои глаза, да сразу и отвела. Мается чем-то, но не признается. Надо же выплакать суть как-нибудь. Сплетни сплетнями, а оплетают так, что держат душу.

- Он пьяным пришёл, Лушка?

- Коля много работает. Но не пьёт – ни-ни. Водка зло. А я вот кроликам клеверу нарвала. Много клеверу на склоне повылезло. И ходить далеко не надо. Делаешь шажочек – рвёшь пудами. Рвала-рвала, а он будто на глазах новый растёт, тьма его. Там, за дальним пролеском.

Обшелушил он Лушку, как шелуху, как скорлупку. Содрал кожу, новую не дал. Раньше как она хохотала – вся деревня завидовала. Как против отца пошла – всё стало не так.

Пока так сидели, Лена Горбатова прибежала с вестью: Дуська умерла. Побежали мы – одежду делить. Лушка с нами – дурёха она, но не дура ж.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

В деревне мы часто играли в карты. В дурака, козла и идиота. Днём – на щелбаны, а если вечером, то на желания и тайны. Тайных историй у меня нет, а если есть, то только позорные. Настоящих тайн со мной пока не случалось, надо набраться терпения и подождать. В зал ожидания тайн. Светка однажды продула три раза подряд и каждый раз выдавала тайну, не задумываясь. Как она красные колготки у подружки в раздевалке стащила, потому что влюбилась в такие колготки, а мама ей их не купила. Самое смешное, что она потом в этих колготках в школу ходила и всем говорила, что это ей мама купила. Ещё она видела голую проститутку, они с подружками в Питере нашли, где те прячутся, и подглядывали целый день, пока их не засекли и шторы не задвинули. Хорошо хоть, что в полицию не отвели, только наорали. Вутёнок, как дураком остался, выдал, что он, когда в плохом настроении, чугунки трёт – ладонью, по внешней стороне, и молитвы читает, которые сам же на ходу и сочиняет. Как рэп. Типа «Боженька, пусть всё будет получше. Тогда я буду лучше. Ненавижу математику. Биология и то лучше. Пусть учительница меня не спросит, прошу тебя очень».

Помогает, говорит.

Но это по ночам творилось. А днём всё по-простому: щелбаны и поджопники. В тот день мне как раз должны были дать двадцать щелбанов, а тут спешит Серого сестра:

- Старая Дуська померла. Бежим делить добро.

И мы рванули, оторвались, урвали.

**КУКЛА БАРБИ**

Понаприбежали все. Ну все здесь. Даже Дуська здесь. Правда, в горизонтальном положении. В углу под иконостасом расселась группа алкоголиков, отец Вутёнка и Плешь во главе процессии. Эти ждут, когда нальют. Смерть – дело хорошее, не могут не налить. Ленкина мать и её подружка, биологичка Ольга Фёдоровна, режут еду на стол. Нож один на двоих. Им что хлеб резать, что свинью. Мощной женщиной была эта Дуська. Не нож, а настоящий тесак, руку на отсечение даю. Дуськин дом стоял на самом холме, как гигантский деревянный крест, с годами-веками подбираясь к краю. Крыша просела – вот и намёк на крест. Дуське было сильно за восемьдесят, она всегда уморительно кряхтела, идя в гору: «Ох не дышится, ох напасть, ох не пойму почему». Мы на этот холм с Катей тоже еле поднимались: он крутой и неровный. Дуська забывала, что стара, в гору шла как заведённая кукла. Идёт =Дуся-качается-вздыхает-на ходу-ох-гора-кончается-сейчас-я-упаду.

Все старухи деревни и все мы тоже в хате Дуськиной в тот день были. Не протолкнуться, довольно живенько. При жизни сюда мало кто захаживал.

О Дуське ходили слухи, что она лет пятьдесят назад, когда молодой была, своего мужа взревновала, убила, разрезала на куски, в холодильнике хранила, потом в печку – и съела.

Биологичка резала колбасу и хлеб. Женька спрашивал Лену, тот ли это холодильник, с тех времён или не с тех. Плешь молился на всякий случай. Светка взяла мухобойку, чтобы побить оживившихся мух.

Катя подошла к Ленкиной маме и спросила про Дуськиного мужа. Та удивилась: Дуська замужем не была. Серый сказал, что мужик-то у неё был. «Был, да уплыл, - сказала Ленкина мама. Уехал служить в Мурманск на военных судах». Мы приуныли: теория про человеческое мясо, одна из самых страшных страшилок нашего детства, из-за которой никто из нас не грубил Дуське, рассыпалась в прах на глазах. Жуть как обидно.

Наконец пришла медсестра – женщина, живущая в доме за подсолнухами, закрыла Дуське глаза, взяла намертво зажатый (как же ещё) в её руках ключ, передала бабке Тарзанихе. Мухи жужжали, а люди перестали. Ленкины мама и папа, Вутак, Плешь, Усатый Ющ – дружок Плеша, меньше двадцати, затесался на какой-то пьянке, да так и живёт с Плешем, помогает по дому, Сказочник – алкоголик, который всё повидал, и в деньгах купался, но бедным пожертвовал, и в Афгане погибал, но выжил, дед Козел, Козлиха, Хворый, дед Харя, Агафья и Агафон – мирные невидимки, брат и сестра, муж и жена, Ганна, Ольга Вутц, Зинка Морозова, баб Проня – на вид мужик, но ведь баба, бабка Сучиха, Дуняша, бабушка Фрося и Лиза, Юдины и Коротковы, Головачёвы и Ивановы обступили сундук. Оставлять наследство баб Дусе было некому. Родные сгинули во времени. Неродные хоронили, поминали, плакали.

Сундук простучали с уважением: прочный. А по мне – так гроб для вещей, какая разница. Ключ повернулся легко: недавно смазали. Крышка сундука не скрипнула: баб Дуся была одинокой бабой с чёрно-белым телевизором, а тот – с никудышной антенной, чем ещё ей было заниматься вечерами, если не перебирать вещи. Открыли – ахнули. Сначала померещилось, что ничего нет, кроме то ли облаков, то ли пелены. Стон ушёл, пришло успокоение: весь сундук набит гусиным пухом вперемежку с десятками юбок, китайских зимних ботинок, позолоченными кольцами, платками, шалями, подшальниками, яркими холстинами, вышитыми гладью полотенцами и скатертями и одной шубой. Барахла на пару-тройку жизней. «Прятала от нас шубу, ни разу ни надела», - покачала головой Тарзаниха и надела шубу. Начался делёж наследства. Делили по-честному: в руки по вещи. Хватило всем – не каждая смерть таким похвастается. «Пусть земля ей будет пухом, а этот я беру на подушки», - у баб Прони, бывшей председательницы колхоза, женщины с лицом мужчины, самый уютный дом на селе. Ющ открыл принесённый с собой чемодан и аккуратно сложил в него наволочки с подушек в доме.

Сундук никто не унёс. Через две недели он пропал сам. Дом на дрова никто не разобрал: одна гниль и труха.

**ПРАБАБКА ЛИЗА**

Чужое чужим и пахнет. Не могу я покойничье носить. Могу, но не желаю. Потому взяла только колечко: посадить в поле, загадать желание. Я люблю гулять в поле. Идёшь неспешно, рвёшь цветы, украшаешь себя. А из колечек желания вырастают.

Дуську жизнь побила, и она ударилась в бога. Пропиталась православными образами, ходила, не улыбалась: иконы-то не улыбаются. Ходила она славно: этакая быстроножка, лезет на свой холм, а как про матерь Божью вспомнит, медленнее пойдёт, только не ползёт. Чтобы её пожалели, что ли.

Савуня Титов пошёл за ней в поле, а потом бросил на сносях. Скотину не бросишь без пригляду, а бабу можно. Девочка умерла, как и не было. Крошка такая, что и не разглядишь, а слёз немерено. Я её тогда в холодильник положила: лето жаркое, подвал у Дуси внизу холма. На шестой неделе поста холодильник с пустой пастью стоял.

Поругала бы я Сашку Титовага, отходила бы хворостиной, что скотину, подсобила бы Евдокиюшке, да он не вернулся. Дуська вышила портрет любимого нитками, какие были в остатке, а в лоб перо лебединое воткнула, в крови чьей-то измазанное, и повесила, как картину, на стену.

Вместо Савуни в один год пришёл паренёк, родимое пятно посередь лба. «Тёть Дусь, для вас у меня золотое кольцо». Она думала, то ли Иванов сын, то ли Мишкин, спрашивает у него, а он говорит, я не Иванов, я не Мишкин. Савунин он, от другой жены. Она то колечко в огонь бросила, а потом бегла доставать, когда паренёк сказал, что отец при смерти её вспоминал, как любовь свою. Перо лебединое она пареньку подарила. Соколиное? – спросил он. Соколиное – закивала она, сердце у неё доброе было, только тем же пером проткнутое.

Умер Савуня от рака, не успели вытащить. Кого любил, зачем уезжал – Бог знает. Паренёк сказал, в поисках лучшей жизни.

Жизнь там, где её живут. Я так считаю.

**КАТЕРИНА**

С каждым приездом речка мельчала. Раньше она была что надо. Раньше мы плавали на плоту, боялись утонуть, ещё больше боялись русалок и леших, и тем слаще были детские путешествия-загулы. Речка извивалась между холмами, высокими берегами и оврагами, утопавшими в васильках и люпинах. Всё было синим, а оттого надёжным: небо, речка, васильки, будущее.

Мы с детства гуляли все вместе, но только летом. Света и Полина были из Петербурга, парни Гоша Головачёв (Голова) и Колька - из Мурманска. Все остальные — местные — Лена Гобатова, Вовка-Мурзик, Жека-Белобрысый, Мишка-Юдин сын (Чудоюдин), Серёжка (Серый) и Витька, он же Вутёнок, сын Вутака, внук Вуты, Макс, Ирка, Володька-мелкий...

Пару лет спустя мы не боялись утонуть, но плот всё ещё плыл, лишь изредка цепляясь за коряги, обжившие дно. Коряги были красивыми, с налётом то ли древности, то ли разрухи водой, но слишком цепкими — приходилось рубить. Когда перерубали — коряга преследовала нас.

В тот год приехала в деревню — а речка кончилась. Обмелела так, что даже гуси в одном месте проходили её, не переплывали. И море то теперь гусям и лебедям по колено.

Но мы упорные: решили пойти в морской поход. Старый плот куда-то делся, пришлось искать новый.

При дневном свете опасно делать вылазки за чужим добром: старушки следили за нами из всех щелей. Мы договорились встретиться ночью, в низине, в мёртвой зоне. Люди в деревне уходили неравномерно, либо я так и не уловила логику. Две улицы жили, две — вымерли, пятая одной ногой стояла в могиле.

Мы тайно встретились в начале улицы, на которой сто лет никто не жил.

- Прям уж сто?

Ну, лет десять, но выглядела она на все сто. Стоя у глубокой рытвины, составили план. Решили подойти ко второму дому по левой стороне и снять с петель дверь в амбар. Идти друг за другом, но всем вместе — очень страшно подходить к брошенному дому, в котором кто-то умер - эти пустые глазницы, и запах тления. Каждый боялся идти первым, даже мальчишки, а мне было не очень страшно. Папа в Москве дал мне книжку, где все привидения объясняются физикой или совпадениями. Я сказала, что пойду первой. Идти нужно было молча, чтобы никто не услышал: мало ли что взбредёт в голову этим взрослым, и они нас отругают. Взрослые часто беспричинно орут. Это утомительно.

- И часто на тебя беспричинно ругаются?

Нет, но между собой они постоянно орут просто так. Ты не можешь отрицать очевидное.

- Твои родители часто ругаются?

Не чаще, чем другие. Все ругаются. Стены картонные, звук не впитывают.

Я открыла калитку, и мы проскользнули внутрь. Мы шли по деревянному настилу, который почему-то не скрипел, мурашки по коже, прямо миллион мурашек, хоть свиньям их корми. Ты понимаешь, деревянные настилы всегда скрипят. Этот кровожадно молчал. Только вода где-то капала: кап-кап-кап-кап-кап-кан-кап-кан. Быть беде – как сказала бы моя бабушка. Я старалась смотреть вперёд, на амбар: нельзя оглядываться. Деревенские знают, что в пустые глазницы — окна — лучше не глядеть. Я в привидений не верю, но мало ли на свете нечисти помимо привидений. Задумавшись, я нечаянно глянула в окно.

Она смотрела на меня, припав к стеклу. Глаза бездонные, чёрные, из под платка на голове ни единой волосинки, лицо плоское то ли от нажима на стекло, то ли от природы, ладони – без единой линии. Склонила голову чуть вправо и проткнула меня своими глазами – страшное оружие. Рыскала в поисках сердца, нутра, живота. Смотрела внутрь. Я сжалась в комок, хотела переглядеть. Она чуть сильнее склонила голову вправо. И ни разу не моргнула.

Я закричала так, как не кричала никогда. Я при рождении кричала тише.

Что-то вцепилось в мою ногу, а из амбара выплыло нечто белёсое. Я осела, закрыла глаза и заревела. То был момент, когда ничего не было. В темноте ночи с закрытыми глазами это возможно.

И был момент, когда всё стало как прежде. Я услышала смех и открыла глаза. Серый снимал с себя белый балахон — три дня потом с красной задницей будет дома сидеть, отец надаёт за исчезнувшую простынь. Вовка, он же Мурзик (Мурзиком он стал после того, как в пять лет забрался к соседу в собачью будку и мяукал оттуда несколько часов. Сосед, дядя Гриша, он же Хворый, он же слепой, думал, что это приблудный кот и решил Вовку утопить. Но топить котов без имени — грех, решил Хворый, и по-быстрому сочинил имя - Мурзик. Взяв Мурзика под мышку, дядя Гриша понял, что к чему, но решил проучить Вовку: нёс его к речке и повторял задушевно: будем Мурзика лупить, будем Мурзика топить. Мурзик брыкался, но у Хворого, кроме слепоты, других изъянов не было — крепкий мужик, до сих пор жив. Пришёл на речку, по дороге собрав зрителей, и пару раз окунул Вовку в воду. С тех пор Вовкино имя мало кто помнил: он стал Мурзиком и больше никогда не мяукал), так вот, Мурзик радостно повторял, что «я как полоумная брыкалась, но он так вцепился в мою лодыжку, что у него не попляшешь». Деревенские часто так дурачились. Было весело, если не над тобой. Ну как их за это не любить? В Москве меня никто никогда не разыгрывал, только искусственных тараканов на первое апреля в рюкзак в школе подбрасывали.

Я только одного не поняла. Они изображали привидение и вцепились в мою ногу. Но откуда в окне то лицо было? Я его выдумала?

- Ты часто себе что-то придумываешь?

Не перебивай. Реже не бывает. Мы сняли амбарную дверь с петель и ушли. В следующий розыгрыш Серый на четвереньках кинется на свою возлюбленную Лену в чистом поле, ночью. Лена не догадывалась о его заигрываниях, поэтому инстинктивно отправит его к чертям — заедет пяткой по лбу, и мы, стоя ночью под звёздами, под здешней россыпью звёзд, которые видны все до единой и которые падают так часто, что можно загадать тысячу желаний, напрочь забудем про такую возможность и вечных пять минут будем молиться, чтобы Серый очнулся, чтобы Лена не укокошила нашего Серого. Когда он открыл глаза и смог сфокусировать взгляд, он с восхищением поглядел на Лену. Вот это поворот. Вот это удар. Как в кино. Сказал он. Когда его что-то удивляло, он всегда повторял: как в кино. Серый не собирался вставать, и мы все вместе легли в пыль. Было холодно, и мы жались друг к дружке, но по-хорошему жались, без обжиманий. Всем нам хотелось сказать Лене, что Серый на неё давно глаз положил, и даже фото её, полароидный снимок из амбара, в кармане штанов носит, и сердечки на пыли рисует пальцем, а внутри – имя «Ленка», я сама видела. Никто не решался сказать это Лене, потому что Серый много пил, а у Лены отец — алкоголик. Мы лежали там, на дороге, справа пшеница, слева непонятно что, наверху звёзды, под нами — пыль, и мы знали, что в будущем всё будет хорошо. Серёжка не мог вырасти алкоголиком — у него детство трудное было. Он мечтал вырасти, уехать в Питер и класть плитку, ремонты в квартирах делать, «только так мне без денег в люди и выбиться», - говорил. Вутёнок мечтал поехать на север, чтобы увидеть белых медведей и жить в палатке, «как настоящие мужики. У них даже оружие есть, для обороны». Про медведей и оружие ему рассказал дядя из Воркуты. Головачёв, который на лето приезжал из Мурманска, мечтала переехать на юг. «Не могу уже видеть эту полярную ночь». А как её разглядишь? Сестра Серого Ирка хотела посмотреть в Москву и выйти там замуж. Чудоюдин говорил, что будет чинить мотоциклы и участвовать в гонках. А самый красивый из мальчиков, белобрысый Женька, единственный говорил странные вещи: сначала он сходит в армию, а потом устроится трактористом.

Наши секреты сыпались из нас без остановки, и иногда, на пике сказанного, падала звезда. Кто-нибудь кричал: «Падает!», мы замирали на миг, а потом снова болтали, под звёзды и шёлковый шум ветра. Шуршание. Падающие звёзды. В бездну. Из бездны в бездну. Из бездны в бездну в бездну. Из бездны в бездну в бездну в бездну. Мимо. А может, так и надо. Мимо бесконечного. В бесконечное. Было темно, и мне казалось, что мы, как в сказке, растём, увеличиваемся в размерах, и раз в жизни можем постигнуть это поле, этот непостижимый простор.

Мы бы там так и заснули, но стало холодно до жути, и мы, озябшие, счастливые, на негнущихся ногах пошли по домам.

В доме том, нежилом, через неделю после нашего прихода найдут мёртвым местного алкоголика Вутака. Зачем он туда полез? Вутёнок скажет, мы ему подали плохой пример: напомнили, что есть безлюдные дома, где после пьянок можно отлежаться. Отлежался. Вутак валялся на деревянном настиле – том самом, который не скрипел, и было видно, что он полз, пытался до чего-то доползти или от чего-то уползти – одному Вутаку теперь известно. Отказало сердце – напишут позже в рапорте врачи из города. Вутак по пьяни бил свою мать до полусмерти, до переломов, до того, что она ползала по дому, пытаясь забраться в печку, чтобы сгореть, но не могла встать с карачек. По Вутаку никто не плакал. Вута, мать его, умерла через месяц после похорон.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

В то лето мы решили пойти в морской поход. Это я придумала. Все ездят на море, а мы чем хуже. На плот пошла дверь с петель. Сосед одолжил как бы. Мальчики прицепили к плоту бортики – наворовали в местном ларьке коробок. В общем. Жека сыграл поддатого такого парня, набрал «Жигулёвского» и пытался смыться не заплатив. Продавщица тётя Гала орала, типа, докатился, что мать скажет, крыла матюгами и тянула на себя его ящик с пивом. Жека орал, что покупает чипсов и пива на всех. Как в цирке смешно было. Потом, вроде как случайно, подошёл Мишка Юдин, и они стали драться. Ну, Женька и Мишка, а не тётя Гала и Мишка. Мишка скоренько так повалил Жеку, руки ему за спиной скрутил, как в кино – это он так хотел поразить фантазию тёти Галы, чтобы она про всё забыла, а главное – про свои ненаглядные картонные коробки, в которых она на ночь товары от крыс прятала. Но у тёти Галы фантазии никогда не было. У неё все коровы были Зорьками, все мужья – пьяницами, а все дочки – Галинами. Даже дети у неё только дочками были, ни одного сына не осилила. Тётю Галу так возмутила Мишкина победа, что она кинулась его оттаскивать, повизгивая: «Как крестили твоего деда Юдой, так и ты, юда, исподтишка людей бьёшь, кусаешь, калечишь». Мишка никого не кусал, но думаю, тётя Гала тут имела в виду метафору или типа того, как в литературе. Потом она собралась с духом, набрала в горло побольше воздуха и харкнула Мишке смачно так на макушку, вереща «Юда, юда, предатель, гореть тебе в аду, внучок чёртов». Харчок был большой, наверное, потому что сама тётя Гала была большой, или её злость на Мишкиного деда была большой.

Мишка отёр слюну с волос, а ладонь отёр о прилавок – этот стеклянный прилавок тетя Гала протирала каждый час специальной тряпочкой из каталога «Магазин на диване». Она к ней из Китая пришла, тряпочка эта, на коробке было написано. Тётя Гала охнула, а Жека и Чудоюдин вмиг протрезвели и смылись. Хотя пьяными они не были, но выглядело как чудо: протрезвели такие и вмиг смылись. Круто Юдин сделал. Он вообще добрый, наш Юдин, хоть и странный иногда. Это он виноват, что я придумала морской поход.

У Мишки Юдина был плеер. Ему родители купили. Но не в этом дело. Плеер был много у кого, полезная штука, и модная, и все крутили разные песенки, а Юдин слушал море. Он на море ни разу в жизни не был, а кассету купил на рынке в областном центре. Я сначала думала: повыбражает – и забросит, скучно ведь. Одно и то же: вжж, вшш, шшш, пшш, вжж, вшш, шшш, пшш. Выбирая между «Руки вверх» и вечно одинаковым шумом моря, понятное дело, к чему придёшь. Но Юдин крутил только эту кассету. Как дурак, по одному и тому же кругу. И улыбался тоже как дурак, когда слушал. Качался на вжж, вшш, шшш, пшш. Он, и правда, не самый умный у нас в селе. Учится на тройки и двойки, но без единиц, редко кого обижает. С этой кассетой он немножечко, совсем чуть-чуть, на дебила смахивал: зависал, будто в космосе поселился. Меня это раздражало до цыпок на коже. Самый крутой нашёлся. Может, эта кассета его в зомби превращала? По телевизору рассказывали про двадцать пятый кадр и про то, что человека можно заразить по фото, на расстоянии, а приворожить можно по одному волоску. Были бы деньги. Интересно, если бы у нас были бы деньги, мой папа пил бы?

Бортики для плота приклеились, как родные. Прямо яхта вышла. Поставили в центр магнитофон, в него – кассету с морем, взяли печенье, яблоки, самогонку и отправились в путь. Вутёнок взял собачьи консервы на всех: у матери стащил, а той власти подарили, как гуманитарную помощь. Собак у них было три, все суки, ни одна так эти консервы так и не попробовала. Нам нравилось, хоть и не вкусно. Самогонка тоже невкусная, но мы же её пьём.

Отплывая, мы махали большой земле. Плот еле шёл, будто говорил: не надо вам туда. И мне мерещилось: не к добру это, речка старая, сколько в ней людей утонуло. Речка изгибалась, мы скрипя добрались до поворота. Я закусила губу: никогда не смотрела на речку с середины речки. Плот повернул – и застрял. Глубины в наших местах теперь никакой нет. Пришлось два километра тащить дверь на собственной шкуре. Катя меня взбесила: подставила ладони, но видно же, что даже мышцы не напрягла. Это как открывать рот в хоре, Жека так делает, но он меня не бесит. Пока шли, к Светке присосалась пиявка. Светка мало пьёт, но тут с глотка умяла полбутылки самогонки. Вутёнок сказал, что он тоже хотел бы к ней присосаться, но тогда у нас вообще самогонки не останется. Светку с непривычки рвало, а нам было весело.

Мы ели собачьи консервы, думали о вечном, говорили о любви и дискотеке в среду. Плот качался как настоящая яхта на больших волнах. Это потому что центра тяжести у него нет, сказал питерский Голова Гоша Головачёв. Я думаю, он должен быть, только слабый: вещей совсем без центра тяжести не существует. Даже у моего дедушки, по папе, когда он умирал от рака и уменьшился до размера ребёнка, оставался центр тяжести. Я его поднимала на руки и чувствовала этот центр тяжести. Его легко было поднять: он с девяносто двух килограмм стал весить тридцать, а рост у него – метр восемьдесят, и кость широкая. Даже когда дедушка умер, центр тяжести никуда не делся.

- Трудно об этом говорить?

Трудно, да. Но мама говорит, так бывает, когда люди в муках или рождаются, или умирают. Это по жизни так: то очень грустно, то очень весело. Мама говорит, самое лучшее – это когда спокойно.

Мы так развеселились. Мальчики нарочно раскачали плот. На нашей яхте ржавые гвозди торчали. Это ж бывшая дверь. Когда ты терял равновесие, ты колебался перед выбором: на гвоздь или за борт. Мы, как рыбки, прыгали в воду: по большой дуге, чтобы не задеть ляжками или пятками гвозди. Ляжкопятками. А если на гвоздь – то ляжкопытки. А когда забирались обратно, кто-нибудь опять раскачивал плот. Я давно так не смеялась. Сорвала голос и на завтра хрипела, прямо как папа с бодуна. Настоящее приключение, как в кино: бунт на корабле, жить или умереть, перестрелки, бум, ай, вот тебе, хук слева, хук справа, прыжок Джеки Чана и враг повержен. Лежит, прижат к палубе твоей коленкой. Ты герой. Он дурак. Вот ему лоб и расшибли – сам не догадался.

Плот резко качнулся влево, я взлетела рыбкой, и вдруг в воде увидела большую рыбу. Живую, она плыла прямо на меня и открывала рот. Предупреждала. И себя я увидела, как на блюдечке. Я завизжала и упала. Не долетела до воды. Зажмурила глаза и раз – мне кто-то отрезал руку. Я провалялась с отрезанной рукой вечность. Потом решила прийти в себя. Мою ладонь проткнул гвоздь. Он торчал почти посередке. Шелестело море – и такая боль. Я закусила губу, но слёзы-то текут из глаз. Эти все молчат, замерли, будто мы в игру какую играем. Первым очнулся Серый. «Терпи, - говорит, – побудет больно, но я по-быстрому». Я закрыла глаза - и хорошо, а то они у меня выскочили б. Серый сунул свою ладонь под мою и дернул руку вверх. Снова мне кто-то отрезал руку. Так я без рук останусь. Тошнота накатила, но я отправила её нахер.

Синяя точка на моей ладони. Вутёнок вылил мне водку на руку, а я про себя только повторяла: не реветь, не реветь. Что я, размазня какая-то. Потом заревела. Все переполошились: «Больно, больно?» - говорят. Я говорю: «Обидно, такой грандиозный поход был, мы могли другие земли увидеть. А вместо этого у меня дырявая рука». Мурзик говорит: «Это красиво». Ну, он по-другому сказал: «Это охуительно». «Дебил ты, Мурзик», - говорю. «Никто теперь милостыню не сможет подать - всё провалилось, скажут», - ржёт Жека. «Её надо в госпиталь», - говорит Серёжка. «Лен, ты крута, не ревела почти», - говорит Мурзик. И от этих слов я разревелась как на похоронах. Мурзик перепугался и говорит: «Лен, ну ты самая-самая красивая». Вот идиот. «Лен, ну хочешь, я себе такую же дыру сделаю». Идиот идиотский. Разогнался и прыгнул, широко раскинув руки, и сам прервал своё полёт. Правая и левая руки оказались пригвождёнными. Колька грохнулся в обморок. Светку стошнило на его кудри, а бортик, на который она облокотилась, ухнул в воду. Катя глядела вперёд и делала вид, что она не здесь. Пока Серый снимал Мурзика с гвоздей, тот прокусил себе нижнюю губу, но слова ни сказал. Ни одного. А губа – насквозь. Убила бы его, такая злая на него была, да он сам чуть себя не убил. Целый месяц потом не матерился.

Прогулка по воде не удалась. Пришлось с позором возвращаться в деревню.

**КУКЛА БАРБИ**

Плот был шаткий – только кривой не заметит. Тем веселее: вечеринка удастся, танцевать будем, захотим того или нет. Я одна была в голубом платье из тюля, несколько слоёв, другие оделись простенько: шорты, футболки, шлёпки. Из аксессуаров: на мне – диадема. У Лены и Кати – серёжки. На Вутёнке - татуировка Super ВУ.

Мы сделали бортики из картонных коробок, чтоб никто за борт не выпал. Нам нужно было много коробок, и мы пошли за покупками и грабить магазин. Разыграли сценку «пьяные подростки сцепились на глазах продавщицы сельпо». Круто, если бы за сердце. Но продавщица была старой – лет сорока. Она сначала тоже полезла в драку, но вспомнила, что женщина, и отошла постоять в сторонке. Оттуда по-змеиному плюнула в Мишку. Мишка вытер яд с головы, как волчонок – вроде спокойный, а взгляд – злой, голодный. Я сразу поняла, что он её сожрёт. Но он её не сожрал.

На борт взяли самогонку, а ещё – собачьи консервы. Импортные, на упаковке ни слова по-русски. Зато сама упаковка красивая, ярко розовая. Консервы мы съели сразу, не успели отплыть: прикольно что-то новое пробовать. Я пожевала и выплюнула за борт.

Плот набирал скорость, все болтали и смотрели по сторонам, я загорала, как вдруг мы сели на мель. За первым поворотом, что досадно. От ворот поворот – сказала нам речка. Кто ж в двадцать первом веке на дверях плавает. Да и мало ли куда эти двери вели. Мы ещё и ручку не отодрали, и плот ручкой вниз положили: заходите, духи добрые. Это я шучу, если что, в водяных я не верю, а единственной русалкой, которую я видела в жизни, была барби-русалка Катькиной сестры. Офигительная: волосы из собачьей шерсти, хвост изумрудный, переливчатый, на груди – тоненькое шёлковое бикини. Грудь – что надо, не то что у меня, первый размер, соски не прорисованы. Кен спал с ней, но это ничего не значило: их просто в комплекте подарили.

Но в говорящие речки я верю. Мы с Катериной ворох книг прочитали, где речки говорят. Если прислушаться, так и есть. Любой шелест, шорох или тишина в природе что-то означают. Только чёрт знает что.

Они понесли плот на себе. Я возлежала на плоту по-королевски. По телевизору говорят, я новая королева. Ну, не я, а барби вообще, как кукольный род. Я не заносчива, но роскошь люблю. Сидишь на снятой с петель двери и тебя тащит куда-то деревенская шпана. Подняли тебя до птиц, подняли выше самих себя, ты можешь их разглядывать и ни о чём не думать. Хотя именно их разглядывать я не могла: фигуры моих носильщиков скрывала дверь. Не страшно: само осознание делает человека величественнее.

Когда мы снова перебрались на плот, Катя сунула меня в карман. Наверняка видела, как я позировала на плоту.

Я вот думаю, plot, с английского и немецкого – это сюжет или заговор. Связаны ли plot и плот? Уверена. «Уверенность должна быть беспричинной», - выпало мне предсказание в китайском печенье на рынк. Я сразу поверила. Вот такая беспричинно-следственная связь. Если подумать. Любой плот сулит приключение, с хэппи-эндом или печальненький. Я люблю игры и хэппи-энды. Но тут вышло не по-моему.

Мы бесились на плоту: прыгали, летали, ныряли, били в пустоту из рогаток, пока Лена не решила добавить интриги и не упала на гвоздь. Сначала она не двигалась, потом заскулила. Сергей оказался её спасителем: подошёл первым и снял с гвоздя. Он же снял с гвоздей и Мурзика: тот, по ходу, решил поизображать Христа. Я посмотрела на Мурзика другими глазами. Все смотрели на Мурзика другими глазами. Только Катя не смотрела. Ни на него, ни на нас. Она вообще не смотрела. Будто замерла. Я огляделась вокруг: речка замерла, птицы улетели, или их не было, ветер спрятался. Солнце померкло. Моё солнце. «Катя», - сказала я. Затараторила: «Катя-Катя-Катя-Катя-Катя». Ноль. Тогда я взяла и попыталась упасть в воду. Катя очнулась, схватила меня, обняла.

Саундтреком к нашей поездке был шум моря. Из-за этого беда выглядела по-голливудски. А может, кто-нибудь этот неудачный полёт подстроил.

**КАТЕРИНА**

Дверь была старая, вся в ржавых гвоздях и зелёном то ли мхе, то ли плесени. Она мне сразу понравилась. Мишка предложил поплавать по речке под его кассету, пело море. Это было в кайф.

Мы придумали, как достать коробки. Пошли за семь километров в соседнее село, в их сельпо. Там Женька изобразил в доску пьяного Женьку – у него хорошо получалось, годы тренировок, шутит мой папа. Жека требовал «сникерса на всех» и пива каждому по способностям. На шум зашёл Миша Юдин и стал бить Женьку. Мишка бил Жеку головой об пол, подсовывая под его лоб руку, а Женька ещё и рукой наотмашь бил – получался резкий такой, глухой звук. Балаган, в общем, устроили. Каждый, кто пригляделся бы к их драке, увидел бы, что она фейковая. Но продавщица не хотела приглядываться, она хотела драки. Наверное, она болела за Женьку – он у неё часто самогонку покупал, а может, ещё какая причина была. Продавщица рассвирепела от победы Мишки и начала орать до одури, до колокольного звона в ушах. Потом вдруг плюнула в Мишку и заорала всякие гадости про Иуду. Тут просто надо понимать, что Мишкиного деда поп местный Иудой покрестил, потому что прадед Мишкин попу взятку не всучил.

Всё вмиг закончилось. Мишка вытерся – злобно, но спокойно – и вытер слюни продавщицы о стекло. Теперь можно было посмотреть на себя в витрину и увидеть плевок. Крутишь головой: плевок то на правой твоей щеке, то на левой.

Пока ребята дрались, а мы смотрели, Серёжка и Коля, как самые умные, стащили коробки.

Плот оттолкнулся медленно, будто нехотя подчиняясь нашим палкам-вёслам. Из магнитофона шумело море. За бортом шумела речка, да и вообще весь мир в тот день был шумным – это потому, что мы вышли до полудня.

Мост начал отдаляться, деревня собиралась исчезнуть за поворотом, и это было очень непривычно: уходить по воде. Никуда мы не ушли. Встали на мель, проплыв метров триста от силы.

Мы потащили плот. Как бурлаки на Волге. Мы были бурлаками на Безогнишке – так местные речушку звали. На воду дули.

Мы по дуге прыгали в воду. Смеялись, когда кто-то почти падал на гвоздь, но в последний момент сильно прогибался – и спасался. Суть игры такой и была: держаться на плоту до последнего, пританцовывая, не наступив на гвозди, а если понимаешь, что вот-вот наступишь, падать в воду. Один из немногих приятных типов падения.

Лена хотела привлечь к себе внимание и прыгнула, красиво изогнувшись в воздухе. Как птица. Приземлилась на гвоздь. Сквозь дыру в её руке было видно небо, и это было так несправедливо. Такое красивое небо, у нас были такие большие планы, а Лена плачет. Я б, наверное, на этом плоту и сдохла бы, из него б гроб и сколотили. А она молодец, почти не плакала. Вутёнок не дрогнув вылил остатки самогонки в эту живую дыру. Дверь уплыла от нас по речке.

**ЛУКЕРЬЯ**

Зашла к Коротковым на чай – давно звали, я же как дикая, все стороной обхожу. Я нечаянно обхожу: по хозяйству хлопочу. Мужа моего в последние дни грибок поедом есть. Ногти что когти смотрят, кожа когтится. Я его мочалкой тру каждый день, а грибок тот впивается сильнее, мучает его больно. Сломала голову, что с этим делать. Я ему как это говорю, он мне: голову с плеч себе сними, на кой она тебе сломанная. А впору и снять.

Там по телевизору, по Короткову, программу казали. Про варваров, которые на греков воевать ходили, и нападали, и женщин их насиловали, а потом всё разрушили и убрались откуда пришли. И варвары те были такими красивыми необыкновенно, что у женщин греческих потом детки сплошь красивые рождались. Ладная программа, историческая. Только я всё смотрела и думала: вот бы варваров увидеть. Чтобы только они меня не видели.

Чай я всегда люблю. Чай был вкусным. Чёрный-пречёрный, а пахнет чем-то светлым. Маткой моей, мятой, хатой. Матка каждое утро и каждый вечер чай варила. Голову теряю, а память нет. Тот чай из местных трав был, и васильки, и зверобой, и мяту варили, а этот – из чёрной, индийской травы. Хочу верить, на пользу не только им, но и нам. Расползётся по мне, будет лечить. Докторов я не люблю. Чай лучше будет.

**МАМА АННА**

Давным-давно, в один год нам колхоз пообещал по копейке за каждого колорадского жука, найденного на картофельных полях. Наперегонки мы искали жуков. Заглядывали под каждый куст, приглядывались к земле – вдруг уселись поближе к клубням? Я нашла одного. От радости прыгала так, что перетоптала куста три. Полосатый, глянцевый - жалко отдавать. Хотела сходить, посадить его на могилку Володьке – это мой брат, невинно умерший младенцем. Но не удержалась и сдала жука в колхоз. Копейку бросила в копилку – мешочек из мешковины, который я выкрала из кладовки, перешила и носила на изнанке платья, поближе к сраму — уж там искать не станут. Я копила на городское платье.

Сейчас я с дочками приезжаю в деревню и прошу их помочь мне в сборе колорадских жуков, иначе ведь обгрызут всё под корень, неурожай будет. Их такая тьма, на наших пяти гектарах картошки-то, что мы собираем их не руками – куда там! В левую руку берёшь ведро, в правую – метёлку, топаешь по грядкам и смахиваешь их. В ведре керосин плещется, чтоб они не выбрались.  Если попадёт жук на руку, вздрагиваю. Противно. Но того единственного жука помню, и совсем он не противный. Может, раньше жуки другие были?

**КАТЕРИНА**

Наш деревенский дом обладал всеми богатствами дикого Запада. Гектары картошки и кони на выпасе – они же, если прищуриться, дикие мустанги. Мешки колорадских жуков и кукуруза с «косичками». Любой из деревни мог присвоить столько гектаров земли, сколько осиливал для обработки. Большинство прежних владельцев уехали, кто в город, кто в мир иной, а мои бабка с дедкой (бабка за дедку, дедка за внучку, внучка за Жучку, Жучка за репку, долго ли, коротко ли тянули), остались ни с чем и со всем одновременно. С жирной землёй и намозоленными руками.

Это был чернозём, и это был рай земной. Ты кидал семечку – она росла. Ты забывал поливать клубнику – она не обижалась. Кусты малины на границе с туалетом цвели как в последний раз.

Наша родственники не любили деревянную кабинку рядом с малиной. Зато её любили пауки и мой дедушка. Дедушка, столяр, построил кабинку своими руками. Не только кабинку, но и унитаз. Деревенские считали, что дедушка, конечно, «руки золотые», но больно много из себя строит. На халтуре зарабатывает, детей балует, конфетами кормит, унитаз «вона изобрёл», стены туалета украсил цветастыми картинками, вырезанными из шоколадок и коробок конфет (тех самых, которые он регулярно покупал). Судачили, но поделать, как в недавнем прошлом, ничего не могли.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Ненавидела копать окопы. Нас заставляли. Если опоздала, так могли наказать. Дюже до зари вставали и шли то за семь, за десять, а то и за пятнадцать вёрст с лопатами своими ямы рыть. Всё казалось, что себе.

Всю войну мечтала заболеть брюшным тифом, лишь бы не рыть окопы. Дышала с больными одним воздухом – не помогало. Все четыре года ни разу не захворала, только от усталости падала, да тогда все падали, и не поплачешься никому. На пятый год соседка, кума наша, заболела. Как я радовалась! Сказала, буду за ней ухаживать. Все знали, я умею ухаживать, я с матерью пятеро сестёр в войну выходила.

Старалась изо всех сил. Кормила куму с ложечки, с кружкой воды сидела. Она хлебнёт воды, на подушке откинется – я по-скорому к кружке приложусь, сделаю глоток – и снова её пою. Наклонюсь к ней, вроде подушку поправить, а сама дышу изо всех сил. Она выздоровела, а я так и не заболела.

Заболела я восьмого мая сорок пятого. До сих пор гадаю, от кого же. На картах гадала, по памяти гадала, у цыган спрашивала. Скрывают.

Как слегла, так в забытьё сразу ушла. Выныривала – ничего не понимала, кроме одного: умираю.

Доплелась до кладбища, спряталась около дедовых могилок. Решила – нечего мамке меня мёртвую тащить далеко. Я самая старая из детей в семье, должна быть самая храбрая.

Хватились меня дома через считанные часы. Так быстро, что вьюнок с могилки успел ко мне лишь прикоснуться, но не обнял.

Как мамка на меня ругалась. «Я тебе всю войну вшей выбирала», - причитала. На плач её вся деревня сбежалась. Я лежу ни живая ни мёртвая, обняв могилку бабки своей, всё нутро выходит, тошно, зло, а они надо мной столпились. Думала, живой в землю закопают, в такой ярости они были. Лица менялись, мельтешили. Один повернулся – а сзади тоже лицо, чтоб за мной следить, как на рытье окопов, глаз не спускать. И на руках по глазу. Многолицая толпа. Или многоликая? Я сто лиц и одно полулицо тогда насчитала. Сто одна душа. Мне хотелось, чтобы вьюнок меня покрепче обнял, поласковее задушил. До луны до месяца мне не достать было, ни в жизнь.

Это у меня тогда последняя горячка от хождения по кладбищу началась.

«Сдохнуть решила раньше времени, шустрая у тебя дочка, Катерина Павловна», - это они матке моей. Она вопит, не устаёт. Откуда только силы у неё взялись? Она после войны с дверью сливалась, худая и серая, как мышь в пустом чулане, только длинная. «Сама теперь обратно доползёшь», - кричит мне. Я проваливаюсь всё глубже и глубже.

Мне после говорили, что соседи наши меня всемером домой несли, чтобы мягко-мягко ступать, не потревожить. Ради моей мамки, видать: деревенские любили её за сердце.

Семь молодцов несли, и ни один жениться не захотел. Женилась на восьмом, который позвал. Он славным оказался, а вначале больше всех невзлюбила его. Тихоня, одет скромно, ни гармони, ни шуток. Волосы – ни чернявые, ни белёсые. Лицо – глаза внимательно глядят, а остального и не припомнишь. Но после войны мне уже двадцать два года было, некогда выбирать, а в девках быть – нет уж, насиделась. Пошла за него. Стерпится, слюбится, подумала. Слюбилось – кто бы мог подумать. Нормально жили. Любви неземной не было, да и не существует она, любовь, ни земная, ни неземная. Пил он вначале, тяжко было. Потом взял себя в руки, я простила, и всё пошло своим чередом.

**КАТЕРИНА**

После прогулки по реке мы ушли под землю: построили невозможный шалаш. Мы выкопали две ямы, два метра в глубину, сколько-то в ширину, наложили сверху досок, засыпали землёй, оставив только щель для входа. Сидели там дни и ночи, не отличая день от ночи. До сих пор не понимаю, каким чудом шалаш не рухнул, не погрёб нас. Доски над нашими головами прогибались радугой, только со знаком минус – в обратную сторону.

Я сидела внутри и представляла, как эта масса чёрной земли падает мне на голову, погребает меня, сквозь комья я вижу свет, но это временно, всё всегда временно, только смерть постоянна, и через минуту мир гаснет. Как только я спускалась вниз, этот кошмар крутился в моей голове. Круг за кругом, кошмар за кошмаром, сердце отбивает биты, и мне никак не удавалось его успокоить, себя обмануть. Старая, заезженная пластинка. Приходилось ползти наверх: там, где солнце, плохо не бывает, говорила мама. Бабушка, наоборот, жаловалась на жатву в жару: десять часов на солнцепёке, в аду полегче, «ничего, опосля отдохнём», бормотала, - это она не вечер, а смерть имела в виду. Местные верили в рай. В рай и в телевизор. Ты знаешь, что в большинстве домов телевизор стоял на тумбе под иконостасом? На почётном месте, на домотканой белой салфетке — священный телевизор. Сверху — пророк Илия, Мария Магдалина и святой Иосиф. Внизу — говорящие головы, вряд ли святые. Молились тем, кто выше, молились на тех, кто на экране. Часы тикали на синем фоне, иконы молчали на белом.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас

Сторонники Дудаева взяли в плен полковника, уже четвёртого

Дума приняла бюджет на 95-ый год и тут же перечеркнула его

Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое

В два часа дня возле Белого дома начали стрелять танки

Аминь

Случившееся в Буддёновске никого не оставило равнодушным

Аминь

Верю во единаго Господа Иисуса Христа, сына Божия, распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена

Дом советов сожжён

Буддёновск освобождён от боевиков

И ныне, и присно, и во веки веков

Таджикистан на грани национальной катастрофы

Дом высокой моды Валентина Юдашкина открылся в Москве

Чаю воскресения мёртвых

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй

Курс экономических реформ в России необратим, заявил в Давосе

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос

«Уважаемые сограждане, ко мне потоком идут требования с разных концов страны»

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми твоими мольбами оттени от мене, раба Твоего

«Мы готовы были войти внутрь, когда там кто-то застрелился»

Упокой, Господи, души усопших раб твоих

У вооруженных формирований Аслана Масхадова еще достаточно живой силы

И прости им вся согрешения вольная и невольная

И спаси, Блаже, души наша

Ельцин заявил, в стране нет силы, способной свернуть нас с пути реформ

И прославлю пречестное имя Твое, со Отцем, и единородным его Сыном

В который раз о будущем России легче думается в обнимку с автоматом, а ведь недавно казалось

Нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам в районе Грозного и Гудермеса

Смертию смерть поправ

Господи, не остави мене.

С другой стороны, в подземелье было уютно. Отсвет в нём был лиловым, ближе к верху – с примесью желтизны. Мне нравился этот двухцветный калейдоскоп. А уж если смотрел на небо через дыру-вход, там, наверху, всегда были пушистые облака. Не могу понять, отчего только в моей деревне всегда были пушистые облака. В Москве они есть, но другие и не каждый день. В Крыму они редкость, чаще небо просто синее. А в богом забытой деревне – стая белёсых, взбитых, бегущих облаков. Бегущих и не убегающих. Когда смотришь на такие облака, тебе всегда хорошо. Бесконечно хорошо. Нарисовать их не получается. Волнистая линия лишь уродует, не передаёт сути.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

В тот год Серёжке было пятнадцать лет, и у него был шестилетний стаж алкоголика. В наших краях часто так. Мама говорит, до девяностых такого не было, а теперь есть всё. И колбаса, и героин.

У Серёжки мать и отец — запойные пьяницы, поэтому, когда он впервые попробовал самогонку, никто точно не знает. Может, ему по пьяни в колыбельке ещё давали, у нас в деревне были такие случаи — родители не соображают, а ребёнок не орёт.

С Серёжкой было весело. Он был хмурый, но если чем-то загорался, то всех ворошил и в конце концов загорались все, даже я, хотя меня в окрестностях называют самой тихой. Мы тем летом сделали домик на дереве, а Серый говорит: третий дом на дереве, пора пониже. Говорит, надо настоящую землянку рыть. У нас чернозём, земля сразу осядет, куда рыть – не понятно. Этот упёрся и начал рыть в одиночку. Сквозь зубы цедит: дураки, укрепить же можно. У него всё всегда укрепить было можно: хату, забор, дружбу с городскими, любовь.

Назавтра мы к нему неохотно пришли. Нам страшно было. За два дня все вместе вырыли себе две большие ямы, в два моих роста, и между ними проход, по которому можно было идти, лишь в три погибели согнувшись. Раз погибель, два погибель, будет песенка. На укрепления взяли доски из тёткиного Хронькиного гнилого забора. Забор в целом гниль, а отдельные доски – ничего такие, крепкие. Хронька худо жила. Уже отложила на похороны, а денег всё равно не хватало. Тётку Хроньку нам тогда не жалко было, а когда все спохватились, она уже приняла решение. Говорит, ни разу не пожалела. Она, в обмен на пенсию государству, зажила в доме престарелых. Мать её навещала, говорит, довольная, вся светится и всё приговаривает, что больше работать не надо. Наработалась, бедная.

Но тогда мы о Хроньке не думали и потихоньку на свои игры хоромы её по косточкам разбирали. Наша вся из себя правильная москвичка Катя иногда пыталась учить нас уму-разуму, но мы её к чёрту отправляли. Она уходила, но через пару часов возвращалась: в деревне одна шайка, если ты с ней не дружишь, тебе вообще не с кем дружить. Я к ней нормально отношусь, просто она иногда раздражает, бред легко нести. У меня отец тоже, как напьётся, всё повторяет: учись на одни пятёрки, тогда толк выйдет. Какой толк, непонятно, лучше бы он маму жалел.

Мы стали жить в шалаше. Принесли туда тряпья старого, для сидушек, магнитофон, воды, самогонки, сигарет и яблок. Выпили – поговорили. Не успели попривыкнуть, яблоки у нас сгнили: под землёй яблоки долго не лежат. Моё сердце тоже ёкало от подземелья, но это было так похоже на приключения из книжек.

Катя всегда садилась ближе всех к выходу, и этим меня бесила. Она место не просто так выбирала это. Если бы земля осыпалась, она бы успела выбраться. Трусиха.

Пили все, но девочки, конечно, отхлёбывали меньше мальчиков. Я делала только глоточек — не хочу быть как папа. С самогоном на столе было весело и как у взрослых. Выпили – поговорили. Не повезло только Серому. Все мальчики пьют, а он спивался. Мы столько пили, на разных дискотеках, в шалашах и землянках, что не заметили, как он спился, но мне кажется, шагнул за черту он в том подземелье. Когда вокруг ничего не видно, даже себя, трудно всё верно рассчитать.

В общем, говорю, в лето того года днём мы стали жить в подземелье, потом шли на гулянки, и только под утро расходились по домам. Катя иногда уходила раньше: ей надо было английский для школы учить. Мы с ней говорили на разных языках: мы в школе учили немецкий. Катя говорила, что наша школа в голове всё ещё с немцами воюет, а московская – уже давно с американцами. Я в политике не сильна, не спорила.

Девочки вечно убирались и готовили, мальчики - укрепляли опоры подземелья, воровали с огородов картошку, морковь и покупали у бабы Насти из соседнего села бутыли. В темноте мы рассказывали жуткие истории и больше всего боялись страшилок про то, как в старину людей закапывали живьём. Мы каждую секунду помнили, что мы под землёй, а земля мягкая, ненадёжная. Если кто-то хватал соседа за ногу, ты кричал так, что эхо долго не уходило из ямы. Это было смешно, при условии, что это была не твоя нога. Однажды я принесла отрубленные куриные ножки, с когтями на концах - мама с утра шею курице свернула - и пощекотала ими спину Серого. Он дёрнул плечом и - ничего. Тогда я повернулась к Кате и за плечико так её осторожно куриной лапой поскребла: чирк, чирк. Она отмахнулась, я снова — чирк, чирк. Она хотела отмахнуться, но тут почувствовала в своей руке эту куриную лапу: когтистую, жилистую, с «чешуёй». Как она визжала! И сколько она визжала, без передышки! Мы потом три дня вспоминали. Серёжка, повешенный (после того как он умер, его, чтоб от других серых отличать, стали кликать «повешенным») распустил слух, что до них с Катей дотронулась Жар-птица. Где он это только вычитала, не понятно, у них в доме от силы три книжки валялись. Он заладил как больной: жар-птица, как в сказке. Я пошутила тогда, что зажарили мы давно его жар-птицу. «Наливай», - сказал он своему другу Жеке, - «не чокаясь, за жар-птицу».

Вот так и дурачились.

И конечно, там, в темноте, мы много обжимались. Один из углов у нас специально был предназначен для влюблённых парочек. Все знали, если там кто-то сидит – не подходи, убьёт. Меня никто не затаскивал в тот угол, я конопатая, а у Светы отбоя не было. Она была прехорошенькая: светленькая, заливистая, без веснушек вообще, высокая и умела шутить. Поля была низенькая, чернявая и очень спокойная – у них все в семье такие, порода такая. У Кати были большие серые глаза, и она или смеялась, или грустила – середины у неё не было. На неё и запал Серёжка, который был на три года старше.

Это было делом обычным: летом в деревне всегда кто-то на кого-то западал. На городских девочек спрос был выше.

**КАТЕРИНА**

Как я любила бабушкины истории. Они настоящее настоящих были. Она засыпает, а ты себе всё представляешь. И целое поле раненых солдатиков. Солдатиками их бабушка называла, именно об умирающих так говорила. Окопы в войну, которые из-за усталости никто не хотел рыть. Пятнадцать километров в одну сторону, встаёшь засветло, опаздывать нельзя, накажут сурово.

Вши, которых расчёсками снимали с волос в войну. Не можешь из-за всего этого заснуть. Про голод бабушка не говорила. Повторяла только, что голод был из-за Сталина. После этих слов замолкала уже до утра – ни слова ни вытрясти, ни образа.

Только все бабушкины истории были про войну и одна – про какого-то парня, который ей нравился до войны. Война, война, немцы в их доме – деревню взяли одной из самых первых, есть хочется, матери надо помогать. Мужчины на фронте, таскать воду надо на семью из девяти человек. Она самая старшая, ей и таскать. Один раз немец, мужчина лет сорока, из живущих в их доме, помог ей дотащить воду от колодца. Увидел, как она упала с вёдрами и пришлось ей вернуться, чтобы заново воды набрать, взял у неё вёдра и донёс. Полвека прошло, а бабушка помнила. И не то что бы ласково к немцам относилась – никак не относилась – а тот случай любила, рассказывала о нём нежно.

Война пришлась на её восемнадцатилетие и длилась до двадцати двух лет. Совершеннолетие сравнялось с войной. Жальче всего бабушке было это: она собиралась мужа себе выбирать, а вместо этого пересекала поля с ранеными, умолявшими себя добить, и рыла окопы, которые добивали её.

На одном из таких полей наткнулась на того парня, на которого глаз положила до войны. Ей дальше идти, а она, говорит, встала как вкопанная, в землю вкопанная, и не может. Ничего не может – ни уйти, ни помочь. Он просит о помощи – лежит без ног, с чёрной дырой внизу, а она молчит. Говорит, небо с землёй тогда местами поменялись, никак не могла она понять, куда глядеть. Смотрит вверх – видит ту чёрную дыру. Смотрит вниз – видит ту чёрную дыру. И рвёт её до смерти – желудок наружу, а у любимого её – кишки наружу. И молчит. И хочет поцеловать, а тот кричит от боли. И хочет перекрестить, но вместо пупка – страшная дыра, чернеющая дыра. Он просит убить, а умирает она.

Ушла. Почти слепой, почти наощупь. Ушла с поля на своих ногах, за двоих, а слова от неё ушли на месяц: молчала, семья боялась, так и останется немой. Потихоньку, шаг за шагом, начала говорить: одно слово в день, два, предложениями коротенькими. Вылезла из той дыры весной, когда поплыли по небу стадами облака. Чёрт знает зачем, говорит.

Трясу её: помогла ему, убила его? Уходит от ответа.

Лишь бы не было войны — повторяет. Это про неё, но и про меня ведь.

**КУКЛА БАРБИ**

Я любила засыпать с Катей и бабушкой. Катя слушала, я подслушивала. Там была такая история, от которой я вспотела.

Бабушка начинала всегда одинаково. «Жил-был поп, толоконный лоб». Катя лениво перебивала: «Бабушка, это не твоя сказка, я твою хочу». Бабушка молчала с минуту, ворчала: «Ну что мне тебе порассказать, что я, в подоле их ращу, сказки твои». А потом серьёзным голосом начинает «Жили в этой деревне были двое…»

Только может, мне это всё приснилось. Я иногда засыпала прямо по ходу.

«Жили-были в деревне Богдан и Иван. Кровные братья, роднее не бывает. Рванина что один, что второй, но умные. Один в ночи зверей убивал, оленей всяких, пока не видят там, сверху, другой рыбой промышлял – и ловил, и потрошил, и на девиц успевал поглядывать, даром что в чешуе, царь-рыба. Запал на девку, которая рыбу у него брала. Стал он прямо при ней рыбу потрошить. Медленно-медленно, чтоб она подольше постояла, подышала с ним одним воздухом.

- Вонючими рыбьими потрохами?

- И рыбьими потрохами, и чьими-то мечтами. Ножичком работает, по чешуйке убирает – влюблён, значит. А она никак. Смотрит мимо, что та рыба, семенит домой быстро, будто кто за ней гонится. Так ему, во всяком, кажется.

- Он её зарезал?

- Шустрая какая. Легче было б утопить, зачем нож-то тупить. Нет, он для начала разузнал, что да как. Сказали ему: полюбила ночь, каждый вечер бежит во тьму. Ни ночи не пропускает. А брат его тоже, помнишь, ночью разгуливает. И все подумали, что они, двое этих, встречаются тайком. Пошли слухи. Брат влюблённый пошел к ней в дом, отцу с матерью всё рассказал. Заперли девицу в комнатушке, за шитьё посадили, свечками обложили. Та шила месяц, второй, третий. Три года шила, а на четвёртый глаза себе зашила.

- Как зашила?!

- Как, как. Нитками, крестиком. Сказала: «Люблю ночь», и всё. Ещё сказала, что брата того, рыбного, любила, да разлюбила.

- Разве глаза зашивать не больно?

- И то правда.

- Бабушка, я так и не поняла, рыбу Богдан или Иван любил?

- Что Богдан, что Иван, всё одно, какая тебе разница. Закрывай глазки покрепче, будто пришитые, и спи».

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Я была самой старшей сестрой. Уродилась после революции, но моё детство прошло в разговорах о революции и голоде. Жили в деревне. Пресная деревня: ни большая, ни маленькая, до города ни близко ни далёко. Храма здесь не стояло, зато стояла ладно срубленная баня.

Мой отец не пошёл в колхоз, власти нас за то не привечали. Мы тоже мало дружили - с теми, из местных, которые любили потешаться раскулачиванием.

Мой отец кулаками зря не махал. Он любил работать руками. Он проводил, как их, эксперименты на земле. Крестил лук и чеснок: растил, смотрел, в уме пометки делал. Писать не умел – так отмечал крестиками от себя что-то на обрывках то газет, то писем. Хоронил в стол.

Мой отец посадил яблоневый сад. Крестьянская семья, а земли было немного. Это сейчас земля никому не нужна. Только этим - приезжим, пхермерам. Фермерам, фермерам. А тогда, после войны, за землю дрались. Больнее всего дрались соседи. Сеешь гарбузы – кинешь на локоток вправо, вдруг не доглядят. Но, гады, всегда углядывали, криков были, жалобы в колхоз ползли. А что колхоз, колхозу плевать на отдельные души, они для него словно мёртвые.

Мой отец смог получить много земли, потому что пообещал колхозу половину яблочного урожая. Все знали, что руки у него облюбованы солнцем, золотые руки. У него, в одиночку увлечённого пятнадцатью гектарами земли, всё посаженное всходило без потерь. А сорняков мало росло: папка был серьёзным человеком.

Как при царе деревенским плохо жилось, так и в Союзе. Никому не нужны крестьяне. А крестьяне этого не понимают. Понимают только те, кто голодал много. Лишь бы обобрать, до нитки. А ниткой – придушить, чтобы неповадно было.

Но в гроб мы клали всех расписными красавцами и красавицами. Много люди настрадались, нечего им дальше страдать.

**МАМА АННА**

Отец меня баловал. Он был уважаемым в деревне и в городе человеком. В городе он работал, а в деревне жил. Моя мать, Ефросинья, очень хотела переехать в город. Ей казалось, что она нутром недеревенская. Она шила мне модные платья. Когда не болели руки, заплетала меня по-разному, с лентами и бантами. Банты я носила одна на село.

Руки у матери болели часто.

Сама она надевала на себя юбку, блузку да вечно разношенные ботинки. И только.

Мать кормила кур, выпускала из сарая гусей. Гуси собирались в стаю и их пас тот из деревенских, чья очередь подошла. Гуси всё понимали, хотя говорят, что у них куриные мозги.

Курицы тоже всё понимали. Например, они не боялись наших котов. Мать тех сильно била в детстве, если они закусывали цыплёнком, и они предпочитали до конца жизни обходить и цыплят, и кур по дуге. Курица этим пользовалась: налетала на кота, хлопала крыльями, клевала. Орёл, а не курица.

Катя долго не понимала, почему я не хочу кота в квартире. Для меня они были какие-то неумные, трусливые, связанные с крысами и с препротивным запахом самца — в моей голове были. Потом мы котёнка взяли, Катя у помойки подобрала, мне его жалко до одури стало: грязный, дрожащий, жалобный, глаза в гное, а к уху картофельный очисток пристал. Катерина, спасая котёнка, даже не догадалась его отцепить. Я вздохнула, но разрешила оставить. Москва меняет людей, что ни говори. Весь угольно-чёрный, но, слава богу, на правом боку белое пятно. Чернышом назвали.

**КУКЛА БАРБИ**

Это круто – гулять по собственному саду, понимать, что ты – потомок человека, у которого был лес яблонь и груш. Мы с Катей дурачась его прозвали «Дед-сад». В основном сад был в нашей голове: три яблони яблок не давали (в яблоках содержится клетчатка, магний и железо, написано на упаковке моего любимого яблочного сока, которым меня втихаря поила Катя в Москве), но земля осталась. После 90-х сад стал официально принадлежать двум семьям: Катиной и ещё одной, Головачёвым, чей забор пребольно упирался в сад. Но искушением был для многих: обрывали деревья, выкапывали деревья денно и нощно, или как там говорят. Катя мне рассказывала про человека из деревни, который молился и крестился денно и нощно, то есть очень, очень часто. Потом спускался в сад и обирал яблони, пока не наступала ночь. Я не помню, как его звали. Помню, что голосовал он за коммунистов и картошку сажал самым последним из селян.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

Ты просишь больше подробностей про Катю. Ладно.

Катя из Москвы к нам приезжала каждый год, на всё лето. Она нормальная, только немного себе на уме. Молчала много. Смеялась, правда, тоже много. Мальчики на неё смотрели и ходили кругами, но вот ближе редко кто подходил. Только Серый запал. Она, как бы это сказать, насмешливая была.

Например, она нашу добродушную до дури Лушу научила петь частушку. Отбивала ритм пальцами, иногда пяткой. Лушка радостно повторяла:

Мать говорит Христу,

ты мой сын или мой Бог

ты так прибит к кресту,

как я пойду домой, ох!

Как ступлю за порог,

не поняв не решив,

ты мой сын или ты мой Бог,

ты то ли мёртв, ты то ли жив,

ты мой сын или ты мой Бог,

ты то ли мёртв ты то ли жив.

Каждый раз, когда Лушка произносила «Христу», или «Бог», или «мёртв», она троекратно крестилась и кивала головой. Катя смотрела на это, и видно было, что внутри она покатывалась со смеху, умора такая для неё. Я обиделась за Лушку. Это и есть — себе на уме. Однажды Катя сказала, что Лушка своим исполнением создала «новое произведение искусства». Она это казала как-то неприятно.

Мне частушка сразу показалась странной. Пришла домой, выписала текст на листок и маме показала. Та говорит: это советский поэт, Бродский, тебе повезло, у нас Бродский был запрещён, но твой папа мне однажды томик подарил. Я говорю: «Папа читал стихи?» Мама смеётся: «Нет, конечно, не читал, но надо же ему было обратить на себя внимание молоденькой учительницы по литературе, так и познакомились».

- Он тогда пил?

- Пил, но меньше.

- Зачем ты согласилась за него замуж выйти?

- Он хорошим был, добрее других. Да он и сейчас хороший, просто ничего уже не помнит от самогона, даже себя, видать, не помнит.

Иногда мне кажется, что в наших местах долго и счастливо живут только алкоголики. И умирают, как положено, в один день, когда сами себя по пьяни подожгут или вздёрнут. Я знаю, что это преувеличение, но позволяю себе так сказать.

**КАТЕРИНА**

У Лены лицо в крапинку, будто кто-то взял тонкую кисточку, обмакнул в охру и кончиком быстро-быстро, чтобы никто не заметил, не схватил за руку, напоставил точек. Таких… Таких … Где уверенной рукой: ровный круг, чуть коснулся (или коснулась). Где кисть дрогнула – расплылось пятно. Узорное лицо. Краплёное лицо. Дьявол играл в карты с богом? Дьявольская догадка для этих мест, где чернозём смешался с верой. Чёрная метка, красная карточка для неверующего. Хоть атеист, а верить должен. Другие в этих местах не выживают. По меньшей мере, морально.

В деревне мы часто играли в карты. В простого дурака. Пикник на обочине: сядем у дороги в траву, расчистим центр и режемся. Много часов режемся, не на жизнь, а на смерть. Азарт кипит, как бы не свариться. Пиковый туз бьёт червовый. Зачем бить, когда можно лаской? Король взял даму. Хорошо звучит. Шестёрка взяла даму – уже хуже. Сидим, комментируем, подпрыгиваем на месте при неудачном раскладе, замираем при удачном. Прошлые годы под игру к нам дурак Ванятка приходил. Резался с нами дурак в дурака, но в карты ему редко везло. Теперь помер, мне бабушка моя сказала, совсем недавно, царствие ему небесное, не увидавшему царствия земного. Королей Ванятка видел только на картах и по телевизору. То есть фальшивых королей. Чаще всего ходил неприкаянно по деревне, по многу часов, и всё в валенках. Лето на дворе, а он – в валенках. Ноги мёрзнут, - говорил и хихикал глубокомысленно. Иногда косынку бабью на голову повязывал. У Ванятки мама умерла в детстве. Сама, говорят, виновата, не уважила водяных. Все знают, что нельзя прямиком из речки пить или лицо приближать к воде. Она пошла на речку без ковша – и исчезла под водой. Её искали, и днём, и ночью с огнём, но и остатков не нашли. Не говоря уж об останках.

Душа в клочья, чья больше – непонятно. При невыясненных обстоятельствах утонула, помудрствует лукаво милицейский протокол. При невыясненных обстоятельствах Ванятка сошёл с ума. При невыясненных обстоятельствах Ванятка разбился. То, что нельзя выяснить, лучше забыть. Но как забыть то, чего забыть нельзя? Замкнутый круг, дьявол вокруг. Растворилась мать Ванятки в сумерках воды. Быть может, слилась с водой, стала её частью, прошла сквозь землю, очистила её земля, поднялась она высоко в небо, но не удержалась и упала с неба грозой, тяжёлыми каплями. Дождевую воду в деревне собирают в вёдра, кипятят и пьют. Вода с неба – самая прозрачная, вкусная, правильная. Быть может, ту дождевую воду бабушка Ванятки прокипятила в жестяном ведре, освятила в местной церковенке и напоила Ванятку, чтобы тот больше не страдал от жажды. Быть может, Ванятка простил мать. Преображенную, святую, доступную и недоступную. А может, по глупости своей, по святости своей, не понял ничего, ни единой капельки. Ванятку часто видели на речке: ходил и втихую от бабушки-опекуночки лакал воду языком, как котёнок. Взрослый мужик, а жалко было на это смотреть.

Бабушку горе превратило в жужелицу: она упорхнула из мира, пережив Ванятку на пару месяцев. Упала замертво – соседка видела – а изо рта с последним выдохом вылетел чёрный жук, облетел комнату, присел на дорожку на Ваняткин валенок, лежащий в иконном углу, что икона, и улетел через трубу вместе с дымом, с пеплом. Только его и видели. В палисадник попала пара пепельных частичек. Пепел посыпал землю.

У нас как раз новый раунд дурака был в тот день. Все остались в дураках.

**КУКЛА БАРБИ**

В тот вечер Катя захватила меня с собой на лавочку. Я была рада: давно не выходила в свет. «На свет Божий», - говорили в деревне. У них всё всегда появлялось на свет Божий: телята рождались, цыплята вылуплялись, роса появлялась - на свет Божий. Алкоголики выползали из нор на свет Божий. «Уууу, нелюдь, вылез-таки на свет Божий, тошно стало», - говорили старухи, завидев шатающегося от их божьего света пьянчугу.

А для меня свет — это просто свет. Там, где светло, много людей и букашек. В деревне всякой насекомой нечисти водилось навалом. Моё пластиковое тело им было мало интересно, поэтому от укусов комаров, или муравьёв там, я не мучилась ни разу. Чего не скажешь о Насте, Катиной сестре. Она была самой маленькой, для насекомых это значит самый вкусный. Комары на неё очередь занимали. Муравьи за ними. Помню день, когда Настя прилегла на травку, из муравейника поодаль отделилась туча и пошла на девчонку. Та — ни сном ни духом была ещё с полчаса. Но когда они ей в глаза полезли, подскочила, как ужаленная. «Как ужаленная» - это очень смешно. Конечно, надо сказать: подскочила, ужаленная, но у меня из школьного образования — только телевизор, мне простительно.

Настя бежит к нам с Катей, а в волосах и на лице — кишмя муравьёв. Ниже шеи вроде Настя, а выше — муравейник. Лицо искажается – жуть.

Несколько часов мы выбирали из неё муравьёв. Катя выбирала, я советами помогала. Видно, излишне: Катя на меня прикрикнула: «Ты ж из Австрии, это мы из страны советов, хватит».

Я думаю, каждая страна может быть страной советов. Это же очень удобно — слушать мнения бывалых, опытных людей. Катя тогда мне сказала, что с какой это стати я опытная, если я — кукла, выросшая в советского типа однушке. Я парировала, что я знакома с австрийскими магазинами, в отличие от неё, которая даже за границу ни разу не летала. Мы тогда поссорились, она забросила меня в ящик для игрушек под кровать. Как я была рада, когда она через шесть дней достала меня, и мы пошли на лавочку. Правда, от муравьёв с их упорядоченным стилем жизни мы за шесть дней дошли до хаоса, что есть, то есть.

Но я всё готова терпеть, лишь бы выходить в свет.

**КАТЕРИНА**

Вечером, часов в пять, до ужина, все деревенские выходили на лавочки. Кто-то сидел на своей, кто-то на соседской, кто-то на другой конец деревни шёл. Целый ритуал, как бы тебе это объяснить.

Наша лавка упиралась в амбар, амбар в крышу, крыша в ствол, ствол в крону, с кроны на головы сидящих падали сливы, они их ловили и ели. Божья благодать – посидеть на лавочке, обсудить дела предзакатного дня.

- Я тоже, когда был маленьким, ездил летом к бабушке в деревню.

И где была твоя деревня?

- В Подмосковье, сто пять километров от Москвы на юг.

У тебя там было так же, как я рассказываю?

- Нет, сама деревня была современнее, с дорогами и магазином, пусть и сельским. Но там тоже были лавочки. И знаешь что?

Нет.

 - Я много слушал разговоров старушек на лавочках. Я тогда решил, что одна из самых важных профессий – это уметь внимательно слушать людей, чтобы помочь им. Неграмотные старухи мне в этом здорово помогли. Они как никто умеют слушать собеседника.

Но они ж не всегда слышат. Бродят по своим мыслям.

- Но дают человеку рядом высказаться. Это же важно, ты как думаешь?

Неплохо.

- Точно тогда я и задумал стать психологом.

Но не стал же.

- Ну, психиатр и психолог – это родственные профессии. Уточнял свои желания я уже в зрелом возрасте.

Двенадцать лет – это уже зрелый возраст?

- Слегка недозрелый.

Когда я стану зрелой, я тоже пойду в психологи или психиатры. Правда, может, ты всю история со старушками выдумал. Мужикам нельзя верить.

- Господи ты боже мой, это в твоей голове откуда?

Так мама говорит. Правда, потом уверяет, что с языка сорвалось. Но в чём-то, если поразмыслить по-честному, она права. Все мужики что-то там такое говорят, все женщины орут, потом мало друг с другом разговаривают, а потом разводятся.

- Это тоже мама говорит?

Нет, у меня свои мозги есть. Я же вижу: наша соседка тетя Аня с дядей Колей орут и шлангом от пылесоса дерутся. Другие соседи орут – через стенку слышно - и друг друга в квартиру не впускают. Мама с папой орут, а однажды мама так разозлилась на папу, что приложила ему утюг к плечу. Утюг был холодный, но ни папа, ни я этого не знали. Папа подпрыгнул и заскулил, мама расхохоталась и расплакалась, я расплакалась, скуля.

- Жизнь разная. Я тебе могу прямо противоположные истории рассказать.

Все мамины подруги развелись, кроме одной. Нет, есть ещё одна, но в их семье секса нет, о чём все знают. И ещё одна: ей муж изменяет с секретаршами, но она терпит, потому что из деревни, неравный брак. Вот это – жизнь. У нас весь дом в Москве такой, жизненный. А ты мне сказки рассказываешь.

- Кать, я обещаю с тобой обсудить от и до отношения между мужчинами и женщинами, и мы вместе разберём, почему так много людей ссорятся, хорошо? Но давай историю в деревне до конца доведём.

Мне не нравится её вспоминать, потому что я сомневаюсь, правильно ли я поступила. Хотя именно на лавочке я тогда окончательно решилась. Ты понимаешь, сложно было удержаться. Ты бы тоже не удержался. «Порывы ветра достигали ста метров в секунду: никто не удержался». «- Тото, мне кажется, мы уже не в Канзасе! – Да, Элли, по ходу, в этот раз нас ещё и во времени двинуло». Эйнштейн мечтательно выдохнул: машина времени – это поезд Москва-Вожигово. Мухи жужжат.

В тот вечер мы сидим, то молчим, то щебечем, то бабушка моя напевать начнёт, соседка наша баба Сима подхватит. Так и сидим, куда спешить — медитация по-деревенски.

Последней к лавочке плетётся Лукерья. Идёт Лушка, спотыкается. Села на краешек и молчит. Обычно она мало, но говорит. Так, пустяки какие-то: колорадский жук одолевает, кобыла «ихняя» третьи сутки неспокойна, волчий вой «ей-боженьки» позавчера слышала, в город завтра поедет, сало впору продавать.

А тут молчит и лицо воротит. У неё очень узкое лицо, у Лушки. Ты не понимаешь. Супер узкое, как у божка, неумело выструганного из дерева. Слева прямой сруб, справа прямой сруб, намёк на нос посреди, уж как получилось. Казалось, что таких узких лиц не может быть, но сложно не верить глазам (своим). Откуда среди круглолицего деревенского племени возникла такая чужесть, такая узость – загадка.

От кого пошло узкое личико Лушки, чья кровь попала в Лушку, никто не знал, и даже слухов по деревне не ходило, что каламбур: в деревне нет слухов. Хлеба нет, магазина нет, больниц нет, но слухов нет?! Село – это такое место, где каждый скелет многократно достают из шкафа и каждую кость обгладывают. Чем бурнее и интереснее была жизнь скелета, тем долговечнее деревенская память о нём. Быть знаменитым не красиво. Попользованный скелет убирается после в шкаф, но недалеко, чтобы всегда был под рукой, чтоб при случае посмаковать останки. Прекрасное занятие, развивает фантазию – смакование косточек.

А тут молчит, потому что губы у неё разбиты. Губы, правая щека, и даже левая — святая она, что ли?

На щеках отпечатался очень характерный след, такой ни с чем не спутаешь. След от раскалённой кочерги, как клеймо, на поллица. Я превратилась в ярость. Душа моя, Лушка.

Старушки сначала на неё не смотрели, крови и ожогов не видели. А я вижу, и деревенею внутри, в животе ком образуется. Премерзкий всё-таки это ком. Он не из снега, а скорее, горячий. Он никогда не тает, не плавится, а только иногда сжимается до точки.  До самой острой точки в мире: режет твои внутренности — не щадит.

Моя бабушка говорит: «Луша, ты сегодня молчком всё». Ну, бабушка не так говорила, а, типа, «Лушка, да давеча ж ты ни словечка ни кажешь?» Я просто, чтобы тебе понятнее было. Она начала открывать рот, скривилась, замерла…

Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри. Вот Лушка на мгновение замерла, как если бы со мной в «море волнуется» играла. Но она б не поняла, если бы я ей это сказала. Во-первых, она игры такой не знает. Во-вторых, она в игры не играет. А в-третьих, она моря-то никогда не видела. Ты можешь себе это представить? Если бы я была президентом, я бы закон написала – о принудительной доставке каждого человека к морю, раз в жизни и бесплатно.

Лушка замерла, потому что ей зуб в горло попал. Она начала кашлять, выкашляла его и на ладонь выплюнула. Тогда я впервые увидела так близко её ладонь. На ней было линий – не сосчитать. Не тысяча и одна – десять тысяч и одна. И эта одна, центральная, была столь глубокой и почерневшей от земли, что казалось, кроме земли Лушу ничего в этой жизни не ждёт. Вот в тот момент я и подумала, что точно проведу операцию. А то если всю жизнь бояться, в конце концов всё встаёт с ног на голову, и ты не боишься того, чего должен бояться по праву рождения: смерти.

Петля за петлёй, в ту ночь я села вязать специальный бандаж для руки. Восстанавливающий. Ветер за окном рвёт и ревёт, а я накидываю петли и частушки пою, каким меня дедушка научил.

Прилетела птичка, села

Прямо на нос петуху.

Петуху обидно стало,

Он запел: ку ка ре ку!

Если сесть на курицу,

То курица зажмурится,

Попадёшь в куриный рай,

Только яйца подбирай!

С частушками всегда меньше страшно. Проговариваешь их, такие глупые, такие пошлые, мир сразу кажется проще. Я воображала, что я прядильщица, как в старину, которой надо заработать денег на еду, она сидит в своей темнице, обязательно досветла, и прядёт. Я видела Лушку за работой с веретеном. Она прядёт шерсть, лицо скупое, отрешённое. Кажется, если б ей в тот момент сказали, что она будет жить вечно, ей бы это не понравилось. Хотя кто её знает. Она такая простодушная дурёха, простодушная до дури, что вполне может сказать: «зато скольким деткам успею вещичек связать!»

Голубые вёдра дали

И послали за водой.

Без любови жить невесело

Девчоночке одной.

К пяти утра всё было готово. Я пошла спать, когда бабушка едва встала. Самое уютное, что случалось со мной в жизни — это когда бабушка на рассвете гремит своими чугунками, разжигает печку. В то утро уютные звуки меня не убаюкали: я лежала и думала, что этот чугунный звон, печной треск вековых поленьев и шарканье ног надо крепко-накрепко запомнить, потому что бабушка старенькая и скоро умрёт. Жаль, что те звуки нельзя положить в карман — они бы стали моей драгоценностью, моим амулетом.

Нервы мои расшатала Лушка, это я понимала, но никак не могла понять, что делать с тем, что бабушка умрёт? Как с этим бороться?

Я старалась не засыпать как можно дольше, зазубривая звуки, пропитываясь скрипами, шорохами, запахами, мычаниями, гоготом и лаем, но в конце концов меня сморило. Ты знаешь, я по сей день помню каждый тот звук.

Услышу знакомый, вросший в меня звук — мысли забирают меня. Схватка на миг - и вот я вся - мысли, а тела нет. Но тело всегда где-то есть, это любой убийца знает. Значит, его спрятали, может даже глубоко, может, по частям. Надо рыть, надо искать с собаками, иначе будут только мысли. А я гулять ещё хочу, прыгать хочу, на качелях летать, плавать там. Мысли тебя к кресту прибивают, если ты не сильнее их.

Меня милый спрашивал:

«Много ли именьица?»

Я ему ответила:

«За двором поленница!»

**КУКЛА БАРБИ**

На лавочке в тот день Катя не мигая смотрела на избитую Лушку. У той зрачки почернели, застыли, и только рука порой инстинктивно вздрагивала, защищалась, видать.

Лушка, как смогла заговорить, говорила медленно и прерывисто. Всё посматривала в сторону своего дома.

- Не чаяла выжить. Так ревела, не знала, куда душе деться. – Начала Лушка.

- Он в дурном расположении духа. Дух повелевает им, что слугой. Надо его в бутылку поймать да в печь загнать.

- В какую бутылку? – заинтересовался неслышно выросший позади лавочки Плешь.

- Не до тебя, Плеший – сказала бабушка. Иди отсюда.

- С вами и поговорить ни о чём нельзя. – сказал Плешь и не ушёл.

- Он как на меня злится, у него зрачки прячутся. Проязычился он.

- Ты молитву пред ним прочти. Это бес в нём сидит, вот он и бешеный. – Баб Сима.

- Он сам и есть самый жирный бес. Не изгнать из него беса. – Бабушка Фрося.

- Да как же я прочту. Они вдвоём с бесом сильнее меня.

- А ты бойся и читай.

- Не евши не пивши сразу на меня кидаются. Иди, лупить буду – говорят.

- Калеки и дураки всегда сильные. Ты такая слабая, всё равно что сильная.

- Алкаши тоже сильные, – влез Плешь. Его перегар перебивал ароматы ромашек и малинника.

- Пришла беда. – Невпопад сказала Лушка.

Сто лет назад она к тебе пришла, а ты её только разглядела, умница-красавица.

- Но пусть его. Сказала Лушка. Откинулась на стенку амбара, прикрыла глаза, спряталась в себя. Вот и весь сказ.

В какой-то момент я стала бояться за Катькину психику: она реально не мигала, побледнела дальше некуда и казалось, не дышала. Рядом с лавочкой росла слива, Катя даже не заметила, как её пальцы разжались, и я полетела вниз под сливу, вместе со мной упал плеер с наушниками, который от падения включился, так что я могла расслышать «Ну где же ты студент игрушку новую нашёл...». Катя, как и все девочки, фанатела от «Рук вверх» и всегда таскала с собой музыку. Под деревом хорошо пахло крапивой, напевные разговоры на лавочке убаюкивали, на Лукерью я пыталась не смотреть, — эта несчастная клуша то ли глупая, то ли чересчур покорная, меня это слегка подбешивало. Не заметила, как заснула. Проснулась уже в доме, в Катиной кровати.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Она прибегала после всех своих игр румяненькая, игривая. Обнимет меня, расцелует в обе щеки.

В то лето в деревне она какие-то свои думки думала. Всё в голове у неё бунтовалось. Тяжко ей было, но я никак не ловила, что у неё на уме. Все они взрослеют, все меняются. А думать — это даже и хорошо. Дурак много думать не будет, силёнок не хватит. Покрестили её по-быстрому, чтобы никакая хворь уж не взяла.

В тот день она пришла в дом сама не своя. Сядет — пересядет — встанет, ох ты ж Господи. Что тебе не сидится? Елозит, мается. «Катюша, что с тобой?» - говорю. Молчит, по-волчьи смотрит. Ну помолчи, авось, полегчает.

Пошла всех к столу собирать. Все расселись. Дед во главе стола, я суету навожу, из печи и со плиты таскаю. Аня поближе к папке, Настя рядом с Аней, от мамки ни на шаг. Катюша – супротив деда, нравилось ей место то очень. Я пшёнку поклала, та из печи, да мясо свиное на плитке сжарила, да суп сварила, картофельный, с яйцом, на свинине. Мы такое часто едим. Дочка салат наготовила — она зелень уважает, потому что, как заклинание повторяет, витамины в ней. Деду картошку с луком, салом поставила и молока кувшин. Всё хорошо было: стол полный, всё на месте, работа за плечами. Вздохнули, мы с дедом перекрестились, сели есть. Мы все с хлебом едим, а внучка — без него, с рождения такая.

- Катя, что ты опять без хлебушка кушаешь? Ты хлебушек-то возьми, с ним сытнее, - сказал дед. Он это говорит всегда, потому что Катюша всегда без хлеба ест. Мы все с хлебом, а она нос воротит. Я-то не лезла, а дед лез, настырный у него характер, мужской.

Катя смолчала раз, а на второй уже не хватило. Он ей — с хлебушком, а она перекосилась, вырвала горбушку из его рук, выбежала на середину комнаты, кричит что-то и кусочек этот жалкий ногами топчет. «Хватит повторять одно и то же», - кричит. «Дураки». Дед чуть не плачет, внучка визжит, а мы сказать ничего не смеем — замерли, будто молния по нам прошлась.

Растоптала хлебушек тот и убежала, рыдая.

Мать ей потом по заду надавала. Мне её жалко было, ну да мне её всегда жалко. Наругали, небось, за дело — я этот хлеб своими руками пекла, тесто с зари месила, а руки у меня уже не железные, сдаются.

В ночи не выдержала, пришла к ней, обнимала, целовала. Балую я её, но уж очень она ранимая девочка, хрупенькая, с душой. Кажется, подуешь на неё, как на одуванчик — и улетит эта душа высоко-высоко. Я к ней тянусь, как к свету, а она ко мне. Родственные души мы.

В ту ночь Катенька сказала, что хочет спать одна в своей комнатушке за занавеской и попросила взять ночник себе. Мы разрешили: вдруг решила почитать перед сном, любит книжки страшно. Думали, на нас обиду затаила, а она, как потом скажут, в ночь ту шила.

**КАТЕРИНА**

Бабушка любила кидать сухари в суп. Голод закончился, а для неё дольче вита — сухари в супе. Сила в привычке, стерпелись сухари, слюбились. Поколение за поколением поклонялись крестьяне хлебу. Другой жизни и не может быть, без хлеба-то. Ты подчиняешься привычкам предков, если хочешь выжить. Новое время никогда не наступит, если кто-то не скажет этим людям: нахер покорность.

- Что ты понимаешь под покорностью?

Трусость перед действием. Трусость перед собой. Трусость перед будущим. Когда я ощущаю в себе покорность судьбе, меня это пугает. Трясёт.

- Взрослея, люди уходят от максималистских суждений.

Это и плохо. Куда им уходить, если до максимализма никто из них так и не доходит? Так, трёп один.

-  Иногда стоит поговорить с человеком, чтобы понять его мотивы. Мотивы помогают простить.

Всепрощение? Не. Туда же, к покорности.

- Что ты думала про себя после сцены с куском хлеба?

Много всего, и всё — плохое. Мне было стыдно перед бабушкой с дедушкой, но они сами меня довели. Бабушка на меня странно смотрела — немой укор. «Что ты на меня волком смотришь», - говорю. «Я тебе не чужая», - говорю. Немой укор на то и немой. Молчит бабушка, головой качает, платок на голове, этот вечный, не снимаемый во веки веков на селе платок, незыблем на голове, вместо слов, вместо слёз, вместо нимба. Немота проникает и в меня. Молча смотрим друг на друга, кукушка в часах молчит, только секунды тикают с отчаянием, с прискорбием. «С прискорбием сообщаем вам, что прошло уже пять минут с момента плохого поступка. Осталась вся жизнь».

Бабушка, не молчи! Я больше не буду. Но моя бабушка молчит. Я плачу и убегаю в свой уголок, с кроватью за занавесками, на которых чудесные деревья и птиц рисовала, затем вышивала сама бабушка. Через тысячу лет слышу шаги: приоткрывается занавеска, входит она. Смотрит на меня, снимает свой извечный платок с головы и даёт мне — утирай слёзы да сопли, рёва-корова.

**МАМА АННА**

Конечно, я помню тот безобразный обед. Нагрубила деду, разревелась, хлеб растоптала и убежала к себе на кровать, дальше рыдать.

Что на неё тогда нашло, непонятно. Мы её в детстве много баловали, может, от того все истерики эти. Злится, если не получает того, что задумала получить. Эмоции сдерживать не умеет: ни в школе, ни дома, ни при людях. На нас с отцом накричать — запросто.

Моё мнение — это переходный период. В стране у нас был переходный период, вон что творилось. И от танков по телевизору страшно становилось, и трупы на вокзалах видели, и тьма попрошаек вмиг налетела. Сейчас вроде ничего: выравниваемся. Хотя хорошо у нас никогда не будет, страна такая.

А Катя — пройдёт у нее этот период, я сама ребёнком была, тоже эмоций было через край. Однажды не купили красные колготки, так я неделю рыдала, а потом украла их у двоюродной сестры, Риты. Всё пройдёт, все забудется, особенно как свои дети пойдут: с детьми уже не забалуешь. Ради них все и живём.

**КАТЕРИНА**

Я, конечно, после лавочки всерьёз решилась на операцию, но вечно думала, а вдруг причиню ей боль. В шкафу был спрятан хлороформ. Дедушка держал его на всякий, как средство от шоковой боли. «Колол человек дрова, рукоять отлетела, прям промеж глаз засела. Пока к дохтору довёз бы – помер. Пораздумал я – и сунул ему под нос тряпку с хлором. Вёз смирного, как покойника», - любил он рассказывать один-единственный случай, когда хлороформ пригодился, – «от секиры бы не выжил, топоры – они хирее». Мне секиры тоже были по душе. Рубить ими дрова – дело сложное, а вот любоваться полумесяцем-лезвием, воображать бои за чернявеньких царевен и пытаться представить, каково это, рубить с плеча, мне нравилось. Рубить с плеча я не умела: ни в мыслях, ни руками. Слишком тонкокостная, говорили родители. Они мечтали о храбром, сильном мальчике, но вроде бы меня любят.

- Почему ты думаешь, что они хотели мальчика?

Мама мне в детстве по секрету говорила: «Папа мечтал о сыне, а мне было всё равно». Папа, втихую от мамы, признавался: мы с мамой так хотели сына, но когда родилась ты, всё изменилось.

- Почему бы тебе им не верить?

Слишком тонкокостная, говорили же родители.

Операция должна была помочь мне понять: сможет ли новая, пришитая кисть изменить жизнь отдельного существа. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, знаю, и это мне было на руку. Я хотела лучшей жизни, ты не думай, не смерти, но боялась, что мне не хватит силёнок, слишком тонкокостная. С другой стороны, в сказках же чудеса случаются, главное - верить.

Кисть я нашла на помойке, когда мы с мамой поехали в город за мороженым. Маме меня всегда оставляла часа на три погулять, а сама в это время на рынке продукты покупала. Потом забирала меня в условленном месте, мы шли за мороженым, потом спешили на автобус до деревни, чтобы мороженое не растаяло - мы покупали на всех.

Помойка на окраине городка в тот год была большой. Мне это казалось странным, но прибавляло оптимизма: если гора мусора растёт, значит, есть что выбрасывать. Ещё пару лет назад здесь был небольшой вонючий холмик. А теперь — ввысь пошло. Ураган тоже этому поспособствовал, но не в одном урагане дело.

Много интересных вещей водилось на помойке, хоть и брезгливо рыться. Но то, что я надеялась найти, я нашла. Кисть: красивая такая, и, в отличие от Лушкиной руки, не побитая жизнью. Я рассмотрела каждый пальчик, каждую чёрточку на руке. Ладонь была гладкой, без тех змеюк, что истребили руку Лушечки. Было видно, что она до мозга костей женская. Душа моя, Лушка, душечка-Лушечка, не дам тебя в обиду. Я положила её к себе в рюкзак.

- Катерина.

Не перебивай, ты обещал. Мне сложно вспоминать, потому что я тогда перенервничала. В общем, настал вечер, настало утро, я вдохнула поглубже свежего воздуха, подошла, обняла за плечи, сунула тряпку под нос, чтоб она вдохнула поглубже хлороформа. Она обмякла, а я засуетилась. Она упала, а я её подхватила.

Резала обычным ножом, который я, ты не думай, хорошо обработала, кипятком и спиртом. Резать было сложно: руки у меня слабые, от нервов так вообще сдавали. Хлороформ лился из носа. На всякий случай, в предплечье и плечо я вколола обезболивающее. Моя мама медсестра, я разбираюсь в таких вещах. Резня мне показалась бесконечной, хотя, потом проверила по часам, длилась двадцать четыре минуты. Труднее было пришивать кисть: она не совсем подходила по размеру, была помельче, обработанные спиртом нитки вели себя странно, и я боялась, как бы они не порвались. Стёжка за стёжкой, долго ли коротко ли, я закончила круг. Кисть была пришита, встала ровно. Поверх натянула бандаж.

Вопреки больничным правилам, я оставила пациента одного. Чтобы когда она очнулась, она не знала бы, что это была я. Быть знаменитым некрасиво.

**КУКЛА БАРБИ**

Я не теряла сознание ни на минуту, но, конечно, ничего не чувствовала. Всё это было так внезапно и странно, что я просто подчинилась. На Кате не было лица. Она всадила мне шприц в несколько точек на левой руке, затем взяла ножницы, отрезала мне кисть (тут я удивилась, потому что — это ж Катя, она не может кромсать игрушки). Кисть положила на подоконник. В окно била луна, и моя рука, обычно просто розовая, заиграла лиловыми оттенками.

Я с тревогой наблюдала, что будет дальше — быть однорукой не хотелось. Но вскоре Катя положила меня на спину, и мои глаза сами собой закрылись — они у меня всегда сами закрываются от горизонтального положения, я же нестандартная Барби, ты помнишь. Не очень удобно, но производители думают в первую очередь о детях, а не куклах.

Утром меня посадили на кровать, и глаза наконец-то открылись. Я увидела довольно аккуратно пришитую кисть от другой куклы, вряд ли барби, скорее, какого-то крохи-пупса.

**КАТЕРИНА**

На следующий день мы пошли играть в футбол. Мы вечно играли в него босиком. Сначала больно, потом привыкаешь. Гоняешь по полю, ветер лезет в уши, воду пьёшь ковшами – жажда, то ли жизни, то ли просто. Ты замечал, что ветер выдувает все мысли? Ты становишься легче на пару важных грамм. Вутёнок наступил на шмеля. К этому привыкнуть нельзя. Нога распухла, лицо раскраснелось, но он утверждал, что ему не больно. Может, ему было не больно, но ходить он едва мог. Значит, врал.

Пришла ночь. Ужаленный Вутёнок не дошёл бы до соседнего села, и мы остались в родном. Мы пошли в поле, почти на ощупь: звёзды в ту ночь отвернулись. Серёжка с Женькой, как самые сильные, затащили Вутёнка на сноп. Тот сел по центру, довольный своим особенным положением: царь снопа. А мы карабкались наверх и съезжали в пустоту. Снова и снова, десятки, сотни раз. Съезжали просто так и съезжали на скорость. «Евгений пришёл к финишу первым», - говорил серьёзным голосом Витька, и тогда мы всемером набрасывались на Жеку и зарывали его в стог с головой. Жекины белобрысые волосы сливались с соломой и всё равно блестели во тьме. Из стога раздавался мат, Женька орал «всех поубиваю, суки», но звучало неубедительно: его голос в тот год начал ломаться, да и фраза эта была не его, а его отца, который, напившись, бегал по деревне с воображаемым топором и кричал: всех поубиваю, твари, суки, чтоб больше не страдали у меня». Говорящая Женькиным голосом солома веселила нас до одури. Окурки, кто курил, тушили об одежду – не дай бог в сноп кинуть, Женька вспыхнет и исчезнет.

Изловчившись, хромоногий Вутёнок лягал здоровой ногой ползущего наверх, и падающий нарочно цеплял за собой остальных. Тонны удовольствия от падения прижимали нас к земле, не позволяя вскочить на ноги сразу.

Мы устали, но ночь не кончалась. Мы зарылись в стог и болтали. Мальчики достали самогонку, чипсы, сало и хлеб. Я так проголодалась, что съела даже сало. От самогонки отказалась: никогда её не пила. «Странные вы какие-то, москвичи, - сказала Лена. – Всегда себе на уме, а на самом деле – боитесь». «Чего это я боюсь?» - говорю я. «И язык у вас странный, искажённый». «Это у вас язык искажённый».

«Если не замолчите, всех поубиваю, суки», - миролюбиво произнёс Женька, облизнув пальцы после сала и чипсов. Не знаю, что нашло на Лену, обычно она получше. Мы стали слушать цикад. Пришла прохлада, и сидеть в сене стало ещё уютнее. Мальчишки снова разлили самогонку в наш единственный стаканчик – каждый пил по очереди – и на этот раз я не отказалась. Меня будто ударили в шею и живот, а потом я заплакала. Поглядела на Лену: та смотрела насмешливо. «Гадость какая. Как вы это можете пить», - сказала я. «Надо быстро и не задумываясь, - сказал Мурзик, - эффект приходит потом». Он очень смешно сказал слово «эффект». «Ты как с Луны свалилась, принцесса наша из тридесятого царства», - сказала Лена. «Тринадесятого», - поправил Мишка. «Не буду я больше это пить, лучше останусь принцессой», - я знала, что её это заденет. Они все начали болтать о какой-то школьной постановке, где изображали принцев, принцесс и их слуг.

Сквозь сено кто-то нащупал мою руку и крепко сжал. Затем сжал бедро. Это был Сергей. Я посмотрела на него в упор и отобрала руку. Он улыбнулся: по-детски. Наклонился и сказал: «Ты и вправду как принцесса».

«Мы можем стать взрослыми прямо сейчас», - сказал он. «Как это?» - спросила я. «Я видел у взрослых. Они все рано или поздно становятся взрослыми. Так лучше пораньше, - сказал он, - чем раньше, тем лучше. Пойдём покажу». В мою голову забралась новая идея, я решила её проверить.

Скоро вернёмся, - сказали мы остальным и съехали вниз. Свист в ушах, уютная, утробная чернота всё ближе. Сергей поймал меня на руки. Мы шагнули в темноту. Я не видела, смотрит ли Лена, но понадеялась, что смотрит. Мы шли по скошенным колосьям, и я забыла про Лену. Весь мир замолк, и предрассветная пустота была сладкой. Мы ушли за поворот, и там тоже были и поле, и стог. Мы забрались на него, и Серый снял с меня джинсы. Было холодно, но было интересно. Потом он снял штаны с себя, я наблюдала за каждым его движением и всё пыталась запомнить. А потом закричала, и второй раз за ночь заплакала. «Ты чего?» - сказал Серый. «Это больно, - сказала я – становиться взрослой». «Это да, - ответил он, - но все потом привыкают». «Точно все?» «Чуть-чуть людей не привыкают». «Спасибо тебе», - сказала я. «А ты напилась или просто захотела это со мной?» «Мне стало любопытно, отличается ли это с деревенскими и городскими. В Москве теперь надо попробовать». Сергей кинул мне мои штаны, надел свои, почти бегом пошёл вперёд. Я кинулась его догонять. «Ты что, обиделся?» «Нет». «Ты считаешь меня шлюхой?» «Нет. Просто отвали». Мы вернулись к нашим, а Сергей всё молчал. Ни слова мне больше не сказал.

В окне Лушки, на другой стороне села, мерцал крохотный, умирающий огонёк. Три часа ночи – самое время прясть, вашу ж мать. Меня бросило в жар. Как сказал бы Сергей, это Жар-птица пролетела. Очень смешно. Шли бы вы в баню со своими сказками, хоть отмоетесь. Пусть всё катится к чертям собачьим. Искупляться ей всю жизнь? Совокупление, потом искупление – где логика? Она же жертва. Идиотка. Ветер рвёт и ревёт, я реву вместе с ним. Хочу, чтобы было по-моему.

Обычно я побаиваюсь темноты, но тогда темнота скрывала меня от самой себя, всё вокруг пряталось от меня, и я чувствовала себя смелой. Я бросила всех – люди на сене – и пошла на огонёк.

**ПРАБАБУШКА ЛИЗА**

Нужда была рассаду снести к Луше, я и снесла. Хожу я медленно, зато всё вокруг усмотреть успеваю. Глаза уже не те, плохо видят. Что усматриваю, что додумываю. Встретила в низине самой нашу местную Леночку Горбатову. Хорошая девочка. Не заметила меня, да я и не в обиде.

Вот здесь меня чёрт мой нагнал. Голову наполовину забрал, вбил в неё кол, разделил напополам. Он, когда набрасывается, у меня всё плывёт. Хоть сама я никуда не плыву. Он кол всё глубже темяшит, и глаз пытается в нутро затолкнуть. На левом плече сидит – вся левая сторона стонет. В родах легче было. Чуяла я, что с чёртом к Лушке не ходить бы, но уж рукой подать.

За порог зашла – нема никого. Две конфетки съела, третью в карман сунула. Замутило меня от конфеток этих, но сладкое я съем, будь на мне хоть дюжина чертей.

Позвала Лушку, она и отозвалась. Она никогда не румяная, а тут зашла – серее смерти. Глазами вращает, место топчет. Того и гляди, дыру протопчет, в дыру свалится. Тянет ко мне тряпку какую-то. «Вашей это внучки» - лепечет, еле слышно. «Лена Горбатова сказала, что вашей».

Беру эту тряпку, подношу близко – а Лушка как скажет: «Простите, баб Лиз, такой позор». Какой позор, ты, дура деревенская. Чёрт пляшет на мне, меня мутит, а значит, пляшет и во мне, я гляжу всё сильнее, а на тряпке – пятно. Алое, плывёт-расплывается. Не тряпка это, а трусы. На их горбатой антенне они висели, трусы Катеринины в крови. Моя мамка подглядывала за мной в первую ночь с мужем, но так это ж мамка была. А тут – согрешила и вывесила. На всю деревню. Такой стыд на старости лет. Не лупят её, вот она и творит, что хочет.

«Сын Юдиных забегал, снимок щёлкнул», - лепечет Лушка, от страха глаза велики, обычно меньше. «Опозорила нас. Стягом висели. Николай разум потеряет, ежели ему кто скажет».

Надо замереть и не шевелиться, обмануть чёрта. Я осела, вытащила конфету из кармана, положила в рот. Как я люблю конфеты. Ничто так не люблю, как конфеты. Карамельки тоже, но уж шоколадные... Кладёшь их в рот, они горло щекочут. Языком их трогаешь, чудо такое сладенькое, в голове сады райские расцветают, ореховые ароматы мешаются с запахом роз, и наверное, где-то есть моря шоколадные, которые текут себе, тянутся и впадают в моря карамельные, а в Китае люди, небось, не любят шоколад, они недаром все там такие странные, не похожие на нас, и едят насекомых, но ведь и мы ели, но мы-то с голодухи, а они удовольствия ради, а может, если мошку какую в шоколад закатать, то и я с удовольствием сжую её, ещё и добавки попрошу, а вот с червями сложнее, мошки они летают, лёгкие на подъем, воздухом-полями пропитанные, а черви в земле живут, землёю и отходами, получается, питаются, съешь такого, никакой шоколадкой потом не заешь... Опомнилась: с рассадой же пришла. Отдала рассаду, помолилась, спросила про огород, голова вроде ослабла, пришла в себя, сунула трусы внучкины в карман, наказала Лушке никому не трепаться и ушла восвояси.

**ЛУКЕРЬЯ**

Это как было. Он за дверь, я в огород. Слышу шум, иду на шум, а там Леночка стоит. Занесла мне почту. Шепотком: «Тёть Луш, там у вас трусы на антенне висят. Вдруг их по телевизору нечаянно покажут».

Я припустилась что есть мочи. Ничего не спросила. Покарабкалась на крышу, сдёрнула срамоту такую, а они – все в крови. Я с той крыши чуть не ухнула. Пустилась с крыши на землю, а Лена стоит, не улыбается: «Я знаю, чьи это трусы, - говорит. Бабки Фроськиной внучки. Мы с ней купались, я видела. Это как от купальника, только их и так, и так можно носить».

И так, и так. До крови чужой оттуда докоснулась.

Тётка Лизка заглядывала, я её все без утайки и рассказала. Она наказала Николаю не говорить, но да что от него утаишь. Он пришёл – уже всё прознал, хмурый, что тот чёрт. Лазил на крышу и тёр антенну. «Второй раз меня опозорили», - казал. А потом повёл меня за занавеску, где мне было больно.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

Рассказывали, что Катю отлупили и засадили учить английский на много страниц вперёд.

Николай ездил в город покупать новую антенну и весь день потратил на установку её. С небесами связь налаживал, мой батя сказал. Местные алкоголики были рады: все слезли с крыши и пили, мой отец – среди них. Нажрался как свинья и вечером всё кричал на меня, чтобы я не смела и думать о мальчиках.

Я о мальчиках в тот вечер и не думала. О Катьке думала. «Лучше б жопу голую показала, чем срам такой», - говорили в деревне. Ещё про течку говорили, но я не буду повторять.

Я никак не понимала, зачем она повесила эти свои трусы на антенну. Ну допустим, переспала она с кем-то, порвалась, но зачем лезть на крышу и всем об этом трезвонить? Назло мне? Но я на Серёжку и внимания почти не обращаю. Я вообще пообещала себе выйти замуж только за городского, не повторять маминых ошибок. Если трезво к этому подходить, то можно справиться. А я почти не пью.

Катю не выпускали из дому неделю. Я бегала к ней на задний двор, втихую, она из окна вылазила, и я ей передавала, как плохо заживает нога Вутёнка, потому что он её по кайфу постоянно расчёсывает, что мы опять мяч в лапте потеряли, что новенькую девочку привезли в дом на краю села, но маленькую – неинтересно. Она даже не краснела, когда я тот вечер в поле аккуратно вспоминала. Но заговорить о трусах я так и не смогла.

Пока Катьки с нами не было, в деревню приходили скоморохи. Насмешили так, что стало грустно. Бывает такое: веселишься так сильно, что вдруг грустно, хотя и не из-за чего вроде. Они за деньги смешат. К нам редко кто приходит: даже перекупщики не добираются в такую глушь.

Ещё у нас телёнок родился, а через три дня умер. Я ревела, как корова. Наша Манюшка его языком продолжала лизать, когда он мёртвый уже был. Всё лизала и лизала, не уходила из коровника, мычала, а потом расплакалась: у неё из двух глаз по огромной слезе выкатилось. Я отражалась в этих слезах. Я плакала вместе с ней. Мама увидела это и сказала мне идти хоронить ребёнка. Я сказала, что не буду, тогда она разрезала телёнка вдоль и уже громко сказала мне взять его и идти закапывать. Когда мама говорила таким тоном, её надо было слушаться. Вот есть фраза на повышенных тонах, а у меня мама, когда злится, говорит на пониженных тонах, и её голос так затухает, что кажется, сейчас совсем сойдёт на нет, и мамы не станет. Такого быть не может, но всё равно страшно.

Когда я брала телёнка, его кишки вывалились наружу, меня вырвало. А корова мычала. Мама смотрела на меня не мигая. И коровья мама смотрела. Я затолкала кишки внутрь, в эту тонкую шкурку, и понесла телёнка по задним дворам, на кладбище, где закапывали больных животных. На самом деле, их там сначала надо было сжечь, уж потом закопать то, что осталось. Иногда кишки пытались опять выпасть, и я их заталкивала внутрь. Кровь была тёплой, а на ощупь телёночек был как живой. Я старалась не смотреть вниз, смотрела вперёд. Запах крови и молока бил в нос. Хвостик безвольно мотался. Копыта были ещё мягкими, и уже никогда не будут другими. В городе лучше: там тебя никто не заставит телят хоронить, максимум, на что они способны – за английский вон тебя засадить.

Потом я его сжигала и хоронила. Эту шкурочку, этот тёплый животик и этот такой родной хвостик. Потом я шла домой. Потом лежала дома, под подушкой, и мне не хотелось шевелиться. Потом мне мама сказала, что надо смотреть всегда вперёд, а не под подушку или назад, и надо вовремя взрослеть, иначе жди беды. «В конце концов, это просто жизнь», - так сказала. Я начала смотреть вперёд, и вроде всё прошло. И повзрослела – это точно – потому что после телёнка у меня на лбу появилась первая морщинка. «Это к мудрости, - сказала мама и рассмеялась. – Моя Елена Премудрая». Так я стала мудрее, но веснушки остались все до одной.

**КАТЕРИНА**

Когда меня выпустили на волю, мы решили отпраздновать. «И был большой праздник, когда создали свободу» - после крещения я пыталась создать свою библию. Шло вяло, но в деревне всё равно особо нечем заняться. В одну ночь пошли на гулянку к взрослым мальчикам в соседнее село, у которых были мотоциклы, и стали гонять. Наши ребята ревновали, но у них не было даже мопедов, что нам ещё оставалось делать.

Мотоцикл даёт мурашки в животе похлеще мальчиков. Местные их мотиками зовут, но мне не нравится: глупо звучит, как будто младенец шепелявит. Моя сестра в детстве говорила не «молоко», а «моко». Ты садишься сзади водителя, обхватываешь его руками – крепко, но так, чтобы не помешать ему рулить. Ты должен слиться с мотоциклом – это меня местные научили, я легко всему учусь. Его тянет сильно вправо, тебя тянет сильно вправо, и ты должен подчиниться, даже если уверен, что слишком сильно вправо. Ты летишь вниз, у виска асфальт, он дышит тебе в лицо, а твои глаза и нос дышат в ответ: драгоценные жемчужинки жизни, мамочка, как страшно, Боженька, я больше так не буду. И на второй круг.

Мы ездили лихо. Мальчики были поддатыми, поэтому им было всё равно, а я скорость люблю. На скорости ты не успеваешь думать или расстраиваться. Ты мчишь и мчишь. По дороге, по жизни, по вселенной, навстречу богу, но не в плане смерти. В детстве ты бессмертный. Это потом ты стареешь и умираешь. Но в двенадцать лет смерти на мотоцикле нет. Так тебе кажется.

Если бы во времена Будды были мотоциклы, он назвал бы это медитацией. Хотя они были, потому что всё равно ничего вне нас нет. А раз ничего нет, то правило работает во все стороны. Правило-шлюха, так, что ли? Мотоцикла нет сейчас, но он мог быть, когда Будда жил. Только я не помню, когда он жил.

- Буддизм и христианство мы с тобой, Кать, уже обсудили. Дальше ислам?

Что ты всё к исламу свёл. И издеваешься надо мной. Я просто листовку прочла про Будду. Мне на Киевском вокзале дали, когда мы в поезд садились. Там интересно было. Знаешь, есть такие слова, которые впиваются в мозг. Там было написано, что у нас у всех – столкновение миров ежесекундно происходит, реальных и в голове. Картинки были: «вот дерево» – и там такое дерево нарисовано, как дети рисуют: ствол-палка и овал вместо кроны. «А вот деревья по Будде»: и там дальше синее дерево, жёлтое и пустое место вместо дерева. Мне понравилось. Круто во что-то верить, особенно во что-то невидимое. Ещё круто, что буддисты прах мёртвых по ветру развеивают.

- Чем же?

Ну, красиво.

- Что с мотоциклами?

Трое позже на шоссе на скорости ногами зацепились. У одного – правая сторона вдребезги, у двух – левая. Я это видела. Меня тогда рвало на обочину, и я никому не помогала. Бабушка позже сказала, не по-христиански это, и заставила молиться во спасение. Одной девочке так было больно, что она уже не понимала, что ей больно, хихикала и пыталась встать и идти. У неё правой ноги и бедра – что не было. Будничный буддизм, видишь, вылез.

- Кать, дальше.

Ты тему меняешь, потому что в буддизме не разбираешься?

- И поэтому тоже.

Не поговоришь с тобой на серьёзные темы, ей-богу. Не волнуйся. Никто в буддизме не разбирается. Даже сами буддисты.

В тот вечер нам всем повезло. В тот вечер на свободе мы вот что придумали. Выбрали с мальчиками ровный участок асфальтовой дороги, поездили пару раз туда-сюда, чтобы проверить, нет ли трещин. Мы ж не дураки какие-то. На спидометре стояла отметка 150. Мы решили выжать 150 с плюсом. Только по прямой. Это был августовский вечер.

Я села сзади Алекса, и он нажал на газ. Машина набирала скорость, ладони вспотели, но это они всегда так. На нём был шлем, а на мне нет. Не хватило, но я и сильнее без шлема люблю: в нём меньше ощущений, будто ты знаешь, что есть движение, но чувствуешь его только глазами и совсем слегка – телом. Когда ты без шлема, внутри всё переворачивается. Ты чувствуешь скорость нутром, объедаешься воздухом, счастье обволакивает тебя изнутри и через глаза и нос вырывается наружу: сопли, слёзы, кайф.

Детство на высоких скоростях.

Я была без шлема, а Алекс был в шлеме. Я была не за рулём, а Алекс газовал и газовал. На мне не было ничего, кроме джинсов и футболки, а Алекс был в плотной куртке – они все тут такие носят по вечерам. Я была босиком – сняла ботинки перед нашим экспериментом, а Алекс был в кроссовках. В тот вечер.

Скорость подхватила меня, и вдруг моё лицо смешалось с ветром, с соснами, травами, а потом со всем миром. Без шлема на скорости больше сотни я не управляла своим лицом. Оно искажалось, я улыбалась, стрелка спидометра приближалась к 150, и чем ближе она была к механической цифре, тем больше я растворялась в воздухе. Раз. Пять. Ноль. Мы несёмся на безумной скорости, и мы не знаем, что произойдёт через секунду. Не знаем, не ведаем, ноль сокровенных знаний, потому что ноль - это бесконечность. Ноль – это Бог. Бог создал всё, а значит, и ничто. Бог создал скорость, ветер и слово нет. На скорости я кричу «да», но слово входит в меня обратно, «да» входит мягко мне в горло, в пищевод, питает живот и спускается ниже. Там «да» превращается в настоящее «да». Мне кажется, ночь с Сергеем не сделала меня окончательно взрослой, а скорость – сделала.

Алекс уже не жмёт на газ, но я ещё долго сижу на мотоцикле и смотрю на дорогу. Я касаюсь босыми ногами асфальта, он холодный, потому что ночь чёрная, но моих ног хватит на нас двоих. Алекс лезет со своими намёками – приобнимет, прижмётся. Он выглядит усталым. Но я пока вся ещё принадлежу ветру и Богу. Я летела сквозь мир на скорости 150+. Я сравнялась по скорости с цветочными запахами, живущими здесь, вкусными запахами бензина и дешёвых сигарет, с падающими звёздами.

Потом пришлось целоваться с Алексом.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

Ночью мы решили искать клад. Мы его каждый год ищем. Каждый год ничего не находим. Мама любит повторять, что ничего – это уже что-то. Однажды Катя нашла копейку восемнадцатого века у бабушки на огороде, а я – кольцо с зелёным камушком, под мостом, где никто не ходит в трезвой памяти. Мост деревянный, а стены, подпорки- каменные, разрисованы фломастерами и грязью. Фломастеры красивее.

Оделись во всё черное, вышли в ночи. Я надела похоронное мамино платье и плащ. Белый притащил мазут: мы обмакнули туда руки, по кисти, посушили на ветру, и двинулись в путь. Только что дошло: Белый в чёрном, белый на чёрном. Смешно. Прошли холм, кустарники и набрели на поле. Я, понятное дело, знала, что там поле, но хорошо же, как в сказке, представлять, что мы случайно набрели на широченное поле. Куда ни посмотришь – конца края не видно. То есть темень там такая непроглядная, луны нет. Пришлось зажигать спички, Серёга ворчал: сами себя не подпалите, в мазуте же. Я сразу вспомнила, как мы чучела на Масленицу палим. У нас на селе, помимо чучел из тряпья и соломы, идола жгут. Но мы его не палим, мы его обогреваем. Этот идол – самый старый из нас на селе. Он стоит в этом самом поле уже больше ста лет. Мишка говорит, больше тысячи, но это всё сказки для слабоверных. Это такой огромный камень, почти треугольной формы, где раньше, говорит бабушка, глаза, рот и нос были высечены. Ветер в поле сильный, он все знаки отличия постирал, и получился камень как камень, без лица, но все ж знают, что это идол и его надо уважать. Мы каждый год на Масленицу и после сборки урожая раскладываем дрова вокруг него. Он горит-радуется, вечный такой, а потом председатель колхоза ему золой лицо рисует. Как получится, не как художник.

Мы встали у идола и думаем, где в этом году рыть будем? Решили у самого идола, у подножья, сказал Юдин. Раньше боялись идола разозлить, кому понравится, когда перед тобой яму роют - но может, клад зарыт именно здесь? А здесь все боятся, вот никто и не находит. Это Катя предложила, а Серёжка сразу поддержал. Есть такое слово – подкаблучник. Я не знаю, можно ли его применить к Кате, она на каблуках никогда не ходит, но думаю, можно.

Выпили по одной, лопатами и руками начали рыть яму.

- Пальцы осторожнее, - вдруг орёт Колька.

- Есть пальцы, а есть непальцы.

- Я ими аккуратно, – обижается Вутёнок.

- Я про свои.

- Так бы сразу и сказал.

- Как дурак, ей-богу, между строк читать не умеешь.

- Я тебе сейчас отвечу и не гляну, что бабы рядом.

- А бабы совсем рядом.

- Вы ссоритесь, как бабы.

- Вы с ума сошли, какие мы бабы, нам всего по двенадцать лет.

- Идолов раньше тоже бабами звали.

- Как думаете, он следит за нами или спит?

- Спит, ночь же.

- Вдруг у идолов все наоборот? День – ночь, ночь – день?

- Это в Москве все наоборот, а в деревне идолы по-деревенски живут.

- У вас все плохие шутки про Москву?

- Обидчивая какая. Я ж пошутил.

- Мне так не кажется.

- Когда не кажется, креститься не надо.

- Не при идоле про крест будет сказано.

- Да плевать на идолов. Это же просто камень, – говорит Катя.

Болтали, болтали, болтали. Мы любим болтать. Даже когда кто-то задирается, это очень весело. Зимой скучнее, да ещё и школа.

- Моя бабка, когда на деда ругается, иконы отворачивает, чтоб не при них костериться.

- Моя тоже. Все они одинаковые.

- Ничего вы не понимаете. Религия - это красиво. Там столько всего на стенах, в этих храмах. Рисунки, потолки цветные…

- Книжки читать не пробовал?

- Пробовал. Заскучал.

- А ты нескучные читай.

- В нескучном саду.

- С кучей других людей.

- Кучу фигни вы сейчас порете.

- Кто, если не мы?

- Как, вот как вы ушли от религии на такую херню? Стукану священнику, он епитафию на вас наложит.

- Епитимью.

- И её тоже.

- Почему в церкви все слова такие сложные? Я когда в церковь прихожу, половины не понимаю.

- Там не понимать, там чувствовать надо.

- Не чувствую я вообще ничего. Там. А иногда не там.

- Сердца у тебя нет.

- Бессердечная скотинка.

- Скотинку пасти будешь.

- Что ты промычал? Не разобрал.

- Бабий трёп.

- Не злите идола. Надо заклинание прочитать, задобрить его.

- Я ни одного заклинания для идола не помню.

- Блин, я тоже.

- Головушка, идолушка, помоги лишка, для сердца, для дома, для крова. У меня алая кровь, у тебя каменная. У меня настоящая боль, у тебя каменная. У меня два глаза, у тебя много их. Ты много видел, ты всё знаешь. Где клад лежит, покажи нам, идол», – я перевела дух.

- Охереть, не встать, – уважительно произнёс Сергей.

Луны нет, будто обиделась, ушла, хлопнув небесной дверью, а звезды тут и там, лезут, как у меня веснушки. Вот бы были у меня такие веснушки, я была бы уникальной. А так я просто рыжая. Золотая моя девочка, говорит мама. Жаль, из меня золота добыть нельзя. Можно было бы в школу не ходить.

Звёзды сыпались на нас, но всё мимо. Ночь была. Я там была.

Лена здесь была. 20.08.1996.

**КУКЛА БАРБИ**

Я в ящике. В ведре. Или в поле во Вселенной. Не разберёшь: темнота, что в утробе матери, которой у меня никогда не было. Был кукловод на заводе, что меня сделал. И был человек, меня купивший. Без них меня бы не стало, но не они сделали из меня королеву. Барби всё-таки прежде всего – королева нашего времени. Я рада быть в рядах королев. Хотя корона, которую мне подобрала на помойке Катерина, жмёт голову.

Медно-смуглым становится мой мир из-за частых отблесков спичек. Сколько коробков эти люди взяли с собой? Десять, двадцать? Нам же всем влетит завтра за то, что бабкам огонь нечем в печи будет запалить утром. Вспыхнет пожар из-за отсутствия спичек. Мне бы книжки писать. Я бы стала первой барби, заработавшей на мемуарах. Странно, что в мужьях у нас – Кен, а не Барбос, я Кате объясняла свою теорию. Барбосс – босс Барби, главный мужчина в ее жизни. Катя сказала, что работа не главное, а главное - деньги и любовь. Чёрт знает. Но не суть. Ещё б лучше было начальников Барбибоссами звать. Тоже красиво, хоть и длинно. Вы слышали про бритву Оккама? Там правило такое: чем короче и легче, тем лучше. Как-то так. Берёшь – и мысленно бритвой отсекаешь лишок. Или лишка. Лишнее, в общем. Сложнее всего выбрать, что лишнее, ведь всё важно, каждый кусок земли или мозгов – важен. Философом я тоже, по ходу, могла бы стать. Очень хочется пользу людям приносить. Но не суть.

Запахло дошираком: ребята сели есть вокруг костра. Ощущения как бы не особо клёвые. Справа идол, слева я, посерёдке – люди, Чудо-Юдин на разливе.

- Сколько стоила твоя барби, Кать?

- Не знаю, мне её папа из Европы привез. Там деньги другие.

- Дороже или дешевле?

- Дороже.

- А мой батя совсем помешался на днях. Взял корзинку, пошёл в лес, забухал, видать, пришёл с пустой корзиной – и к матери: на, побалуй себя. Мать глядит, а там пусто. Заорала на него, а он ей: ослепла, что ли, у меня полная корзина баек.

- А мой снова в Воркуту укатил, о белых медведях всё думает. Мать говорит, о нас бы подумал. Нищ хуже нищего, говорит.

- Чем больше вы человек, тем бесконечнее ваша тоска, это я в книжке вычитала. - Катя.

- Ты где это берешь? Возьми и мне.

 - Дури? Да из головы – смеётся Катя.

- А, ну да, эта вдаривает сильнее всего.

- О, кстати, в следующий раз надо дури захватить.

- Покажем принцессам сказку, - ржёт Вутенок.

Сидят эти излохмаченные души, пожирают доширак, запивают самогоном (лишь полбутылки на всех в этот раз), иногда суют вермишель идолу, а Катя – мне, по макаронине.

У каждого поколения свои наркотики.

Барби-баюшки-баю-не ложися на краю. Придёт серенький волчок. Он утащит во лесок. Под ракитовый кусток. По грибы по ягоды. Волшебство искать. Корзинки сказок собирать, - баюкала меня Катя, придумывая на ходу. Все остальные снова копали яму. – барби-баюшки-баю. Пошли в лес, Барби, блудить. Или блуждать?

Нашел! – гром среди ночи если что валун не сдвинул, а мёртвых явно перевернул. – Клад нашёл, – орёт Вутёнок. Как резаный, ей-богу, - вомущается Катя. А меня и резали – показывает он ей шрам от аппендицита. Слишком большой, слишком неровный, синюшный какой-то. – Тебе ничего лишнего там не отрезали? Шутит Катя. – Иди ты, - шутит Вутёнок.

На свет, но во тьму появился железный ящичек, весь проржавевший, пропотевший, переживший. Покорёженный, в общем.

**КАТЕРИНА**

Копнули, скрежетнуло, завизжали, припали, разворошили руками землю, достали, открыли. Мишка охнул, я разревелась, Серёжка матюгнулся. Военный ящичек. Фотки, которые такие, фотокарточки,

- Давайте обратно закопаем.

- Дебил?

- Похороним с почестями.

- Надо предкам дать.

- Тебе по шее тогда дадут. Что ночью рыл.

- Зато что нарыл.

- Беду чью-то нарыл.

- Это не беда, это память. Надо с почестями.

- Или сжечь?

- Жечь-то зачем?

- Ребят, вы больные.

- Да подождите вы. Я читал, так можно память по ветру развеивать, и она будет везде.

- Везде на два метра вокруг костра?

- В который кто-то обязательно нассыт?

- Её потом с речки можно по ветру пустить.

- Что-то в этом есть.

- Да.

- Чушь собачья в этом есть. Ты православный или кто? Православные своих не бросают, с мостов и немостов, православные своих хоронят.

- Нет фотокарточек - нет памяти. Вон, бабка моя до сих пор убивается по деду, а полтинник уже прошёл, как без него. Сгорала бы память, не мучился бы никто. Мне её жалко. Все лелеет его старую фотку.

- А у компьютеров память сгорает.

- Пусть бы у моей бабки так.

- У моего бати, кажись, сгорает: по пьяни путает вчера с сегодня.

- Ты так сказал, будто “вчерась"

- Кабы и вчерась.

- Деревня.

- Сами такие. Будто давно уехали. Да и не сами, а мамки ваши. Да повыскакивали замуж.

- Да хватит тебе заводиться.

- Давайте лучше про ящик думать.

- Сжечь, чтоб не ворошить прошлое.

- Родителям отдать. Пусть сами думают.

- А если мы закопаем его рядом с идолом, он чем-то поможет?

- Кому, тебе?

- Тебе уже ничего не поможет.

- Ящику.

- Чем? Он неживой

- Как и его владелец.

- Хватит говорить про неживых! Заткнитесь!

- Что, страшно стало?

- Ночь же. Всё и так темно, а вы ещё темнее делаете.

- Мы не можем принести ящик в жертву идолу.

- Принесём родителям.

Сели, поджав ноги, цыплята на холоде. Кинули картошку в угли, стали ждать. Песни пытались напевать - не поётся. Звёзды падают десятками - август же. Пить не хотелось. Грелись друг об дружку, без обжиманий. Думали. Потом рискнули залезть в ящик с головой. А там письма. Ворох от мамы и от любимой. А у мамы почерк такой детский, и пара букв поплывших. И непонятно, кто плакал: он или она. А потом и все мы, когда в письма вчитались. Захлебывались слезами, как дураки. Маленькие мы ещё, конечно. И дурные какие-то. До одури, до дури захотелось к маме. Пулей.

- Плохое слово - пулей

- Я сказала это вслух?

- Ты сказала это вслух.

- С какого момента?

- С самого начала.

- Откуда ты знаешь, где у меня начало.

- Зато мы знаем, где у нас конец.

Одно письмо было без подписи. Мы все гадали, оно от матери, от любимой? Отрывочек, сложенный вчетверо. Оторвали от сердца, от чьего бы, знать.

«А я насмотреться на него не могу, надышаться не могу. Этого лишиться? Головы легче лишиться. Лёгких легче лишиться. Потому что дышать без него не дышится, шагу не ступается, кричать - кричится. Орёт нутро, лезет наружу, хочет стать оболочкой, а не сутью, самая сердцевина. Сердцевина бьётся, мечется, а сердце замирает – где же логика. Мир блестит, звенит, продолжается, но никогда не возвратится на заветную точку. Прощание навсегда, на веки вечные, на муки вечные - это хуже смерти, хлеще пыток, страшнее смерти. Страшно, милый. Миленький мой, мне надо взрастить надежду увидеть тебя на небесах, но для этого мне надо жить. Как жить без жизни – я не знаю. Ни жива душа, ни мертва – это про меня».

От письма захотелось зареветь.

- Ничего не понятно. Мёртвым же письма не шлют. Да и солдаты железные ящики с собой не носят, – сказал Сережка.

- Может, это особенный солдат.

- А может, это волшебный ящик? Он же рядом с идолом был.

- С идолищем

- На смертном пепелище.

- Здесь бои шли, бабка рассказывала. Может, кто закопал, чтоб потом взять, и не забрал, потому что.

- Потому что что?

- Потому что ничего.

- В этом ничего – вся проблема. Ненавижу ничего.

И тут началась драка. Мальчишки слились в комок. Перекати-поле, посмотри со стороны. Выли, вопили, визжали – у кого какая боль. Вутёнок орал: я сожгу этот клад, нечего снова слёзы лить. Серый орал: что ты за других решаешь, лить им или не лить? Когда двое упали в костёр, я не выдержала и кинулась в сердцевину этого кома, этого чудовища о двенадцати руках, двенадцати ногах.

Продержалась недолго. Через пару секунд Белый врезал мне локтём в глаз, я попыталась заплакать, но раздался рев. Оказывается, когда плакать больно, ты ревёшь. Мальчишки вмиг затихли. Сели, языки проглотили, новые ещё не выросли. Минуты молчания. Я тру правый глаз, чувствую, как опухаю, косею. Мурзик пошел к дороге быстро и сутуло. За подорожником, оказалось. Приложил мне лист к глазу, сам сидел-держал. – Зола лечит, - сказал Белый. Мы разворошили её, как разворошили чьё-то прошлое. В ночи мы стали нырять в золу, пытаясь исчезнуть. Слушали волка. Ежились от предрассветного холода. Обмазывались золой, трепыхались в ней, как птицы с их перышками, дающими им право летать. А потом вдруг успокоились.

Горел костер. Блики прикасались к нам. Эти прикосновения объединяли нас. Казалось, мы сидим, своей микро группкой, и знаем тайну вселенной. Какую-то огромную тайну…

Пойду в кусты отлить, - сказал Вутак.

Вот так всегда. Делаешь из вас героев, а вы - пацаньё деревенское – говорю.

- Зачем я вещи буду не своими именами называть, пошлятина какая, - говорит Вутёнок.

**МАМА АННА**

Пришёл новый день – пришла пора копать картошку. Катерина собиралась спать до полудня, но я её разбудила в семь. Картошку все у нас в деревне копают одновременно, так завелось. Разница одна: от двора идти или ко двору, от дороги. Мы ко двору шли, так поприятнее. Грядка за грядкой, шаг за шагом, пересекаешь всё картофельное поле. «Картошкино поле», говорит Настёна. «А чьё ж ещё», говорю я.

Идут мои детки сонные, заспанные. Ни одна, ни другая не любит рано вставать. Какие они сладкие с утра, как вкусно пахнут. Идём по грядкам, они что с нимбами. Солнце и роса с ними играется, наши отражения ловит. С утра ещё холодно, Настя в шаль кутается, как взрослая. Любит она подражать взрослым. Недавно туфли мои красные на шпильке надела и во двор пошла гулять. Катя спит на ходу, всё в своих книжках, небось, витает. Она, знаете, любит читать. Как вопьётся в книжку, так не оторвёшь. Оторвёшь – так с кровью. Проглатывает всё. С кришнаитами вон на вокзале беседовала, пока я не заприметила. Те уже расцвели, хотя куда им больше цвести, в их одеждах радужных – никто их отродясь так внимательно не слушал. А эта слушает, пропадает зря. Дурёха моя.

Копать на совете решено было с восьми утра до половины первого, а затем – с половины второго и до упору. Катя и Настя картошку собирают, копать мы им не доверяем: разрубят, да и лопаты тяжёлые, тяжелее их. Катерина всё просится копать: надоело ей подбирать, говорит. Настя – та вообще не хочет ни копать, ни собирать. Ей бы снова туфли на шпильке да во двор. Вот и весь сказ. Городская моя девочка не ко двору здесь. Идёт по грядкам, чертыхается, приговаривает: «Здесь я буду обычным зомби, а вечером превращусь в Золушку». Тыкв вокруг, и правда, много. В конце августа семечки будем лузгать только так. Я и в Москву беру – перед телевизором грызть.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Пришли в поле, спрятали в теньке обед. От солнца стыдно прятать, но сытым быть не стыдно. Раскидали плетушки, взяли по лопате, дед делает – раз – и с первого же удара о землю змеюка выползает. Я охнула, а дед не растерялся - напополам её. Она потрепыхалась и сгинула. Царствие ей небесное. На тебе, копать ещё не начали.

Катя и Настя сели на голую землю и стали дурью маяться. Всё пытались соединить эти две родные половинки змеи. «Не трогайте змеюку, бородавки повылазят», - говорю им. «Это ужик, - хмурится Катерина, - и он добрый». Добрых змей не бывает, но внучечки ещё этого не знают. Всё, что извивается, то опасно.

Подорожник ему, дурочки, на разрыв кладут и бормочут свои детские заклинания. А потом Катя кивнула Насте, мол, пойдём. Та хвостиком за ней послушно поплелась. Привязана она к старшей сестрёнке невидимой веревочкой. Дед больше Настю тешит, а я – Катю. Всем нашим девочкам достанется любви, не друг на дружку же нам её тратить.

Вернулись с оранжевым мячом и ну его гонять по полю. Как если бы в футбол играли, но без цели, без смысла футбол. Катя бьёт, бьёт, бьёт в невидимые ворота. Катя бьёт, бьёт, бьёт как заведённая кукла. Буйная в ней кровь. В одно и то же место: удар, удар, удар. Мне уж эти ворота мерещиться начали. Поле картофельное, девочки, что ни шаг, спотыкаются, а бегут и бегут. Гоняли мяч по полю, пока не устали, не повыдохлись. Я хотела наругать, а дед говорит не трожь. Девочки бегали и пинали, пинали, пинали этот детский оранжевый мяч. Всю картошку помяли, как разбойники, ей-богу.

В прошлый год приходили цыгане, так у Хроньки по утру вся клубника оказалась с корнем выдернута. Они с ней ворожат, с клубникой. И крошки из села в село в подолах приносят: чтобы мы все ссорились непрестанно. Кидают их здесь во дворах по углам. Я им даже дворовую калитку не открываю. Пусть в поле идут, нечего им здесь делать.

**КАТЕРИНА**

После картошки пошли на сбор. Я была злая, ребята уставшие. Я злилась из-за ужика: ну зачем так рубить с плеча, ужи даже не кусаются. Зато взрослые кусаются. Пасти у них побольше ужиковой.

Собрались в амбаре, мальчишки сбегали за самогонкой, я конфеты из дома стащила. Это для нервов. Гошка и Мурзик пришли позже всех. Стоят, улыбаются во весь рот. Ну, в два рта. Но они так широко улыбались, что можно было представить, что человека два, а рот один. Чеширский рот. В общем, стоят они, сияют, и видно, что у них что-то на уме. И в карманах. Света первая не выдержала. Всё их спрашивает, что там, а они: а ты попробуй.

Мы сели в кружок, они достали тетрадные листы и начали сворачивать папироски. Я самокрутки не курю, говорю. Мишка говорит: «Да ты и не самокрутки не куришь». Вутёнок фыркнул: «Это не то, что ты думаешь, это трава, но кой с каким сюрпризом». Гоша его поправил: «Наркотики». Вутёнок опять фыркнул.

Сижу и думаю: курить - не курить? Бумажка всё крутится передо мной. Можно было представить, что это как в казино, колесо такое. На одном листке цветок нарисован, на другом – сердце, стрелой перечёркнутое. Гошка смутился и закрутил по-скорому.

«Что будем сегодня делать?» - спрашивает Света. «Курить», - жмёт плечами Вутёнок. Татуировка утки на его плече что фыркает. «Ну, нельзя же просто всю ночь курить», - говорит Света. Вутёнок фыркает, уже в какой раз, и я говорю, что он вот-вот в свинью превратиться. «Ну» - этот чудик плюет себе через плечо: то ли в меня хотел попасть, то ли верит.

- Почему красиво, когда греки голые? – говорит вдруг Серёжка. И ведь ещё не пил.

– Кто тебе сказал, что это красиво?

- В учебниках по истории они всегда голые.

- Но они же ненастоящие.

- Кто, учебники? – шучу я.

- Греки, - как всегда не понимает шуток Лена.

Вутёнок передаёт стопку и в конце сразу обновляет. Стопка наворачивает круги. Опять эти круги.

- Просто если я на селе сниму штаны, все с ума сойдут, - говорит Серёжка.

- Не льсти себе, - говорит Жека. – Вот если я сниму, охереют все.

- Придурки.

- Может, потому древние греки только трагедии писали?

- Это почему потому?

- Все у них в древности наперекосяк. Над трагедией ржали, наверное. Голыми мужиками восхищались.

- Слово трагедия с греческого означает «песнь козла», - говорю я.

- Греки придумали трагедию, им видней.

- А вы знали, что козлы видят почти на 360 градусов?

- Это как?

- Это всё кругом.

- Голова кругом.

- Не может быть.

- Но греки-то не видят на 360 градусов.

- Круто быть козлом.

- Ты и так козёл.

- Иди в пень.

- Сядь на пенёк, съешь пирожок.

- А вот и закуска, ребят.

В ход пошёл чёрный хлеб. Крёстный ход горбушки.

Самокрутки готовы на всех. Не на всех-всех-всех, а на всех нас. Я беру двумя пальцами и прошу меня научить курить. Просто вдохни, плотно губы, вот так – учит меня Мурзик. - Если все сделаешь как надо, через минуту будешь смеяться как ненормальная. Главное, закрой глаза, чтобы связь с землёй потерять, тогда вообще улетишь. «Земля, ты слышишь меня? Как связь? Приём».

Я обнюхиваю самокрутку, закрываю глаза, но приоткрываю губы, - и ныряю в дурман. Открываю глаза, выдыхаю.

- Вдарило? – заботится Мурзик.

Смеяться не хочется, поэтому - нет. Все делают по паре затяжек, а на десерт у нас конфеты. Шоколадные. Это потому что все картошку копали, награда такая. Я ещё коньяк стащила у мамы: на пробу. Когда самогонка закончилась, мы откупорили коньяк.

Никто из нас ни разу в жизни не пробовал коньяк. У нас у всех так блестели глаза, что мерещилось, будто вместо глаз нам вставили звезды. У Светы с собой была ручка, гелевая, и я этой ручкой всем девочкам вокруг глаз нарисовала рожки звёзд. Красиво вышло.

Мурзик решил остатками коньяка окропить углы амбара. Амбар старый, несолидно пахнет, сказал. Мы его нарядили в рясу, сняв штаны и футболки с Серёги и Кольки, обмотали его в несколько слоев, из двух прутьев крест сделали: крест-накрест, посередине гвоздь. Те двое сидели, тряслись от холода, а Мурзик ходил по амбару, грудь навыкат, орошая коньяком углы с паутиной, приговаривая: «Изыди, изыди». Живая вода, но избранно. Сережка и Колька ёжились от холода, а мы с девочками смеялись не могли остановиться.

Не могли остановиться.

Не могли остановиться.

Мы пили этот коньяк и лизали абмарные углы. Гошка слизнул паука и съел его у нас на глазах.

Надо было срочно обменяться одеждой. Смешно. Вплоть до трусов. Снимай трусы, иначе нечестно. Не трусь давай. Оборжаться – не трусь. Мы должны стать ближе, как братья. Даже если здесь есть сёстры, всё равно, как братья. Мальчики отворачиваются стыдливо, девочки плюют на стыд. Мальчики поворачиваются и уже не могут отвернуться. Но мы правильные, мы просто переодеваемся и хихикаем. Лена надевает Жекины штаны, такая: - - Жека, ты их стирал хоть раз в жизни? - В этой – нет, - смеётся Жека. Мне достаётся Серёжкина футболка, и я решаю вообще не надевать штаны: футболка длинная, что нужно, скроет. Пахнет мужчиной. Женщины всегда чувствуют мужчину рядом, любого. А уж в его трусах и футболке...

Полинка обматывает свое плечо трусами Гоши. Я буду самой необычной, - говорит. Гошка мстит в ответ, оставаясь раздетым: самый необычный – я.

- Главное – обменяться исподним.

- Преисподним.

- Кто бы спорил.

- Тот в аду гореть будет.

- Почему в аду горят, а от любви - сгорают? – Это Лена, кто ж ещё.

- Смотря какая любовь.

- Не сгорел – не любовь. – Серёжка.

- Чушь собачья.

- Чушь человеческая.

- Ничто человеческое нам не чуждо.

- Ничто человеческое нам не нужно.

- Отборная чушь! Недорого! Скидки! Только сегодня!

- Мне пару кило, пожалуйста.

- Чуть на прилавки выбросили!

- Да она у вас просрочена.

- Что за страна, даже чушь несвежая.

- Несвежая чушь как французский сыр.

- Пахнет, но так надо?

- Надо уметь наслаждаться тем, что пахнет.

- В аду равных тебе эстетов не будет.

- Что значит эстет?

- Тот, кому нет равных в аду. – Заливаемся, давимся смехом.

- Блядь, ну вы загнули.

- Не загнись.

- Будешь матом при девчонках, я тебе сам загну.

Выпили не чокаясь. За ад не чокаются. Пусть небеса разверзнутся и поглотят ад. Я за.

Самокрутки крутились и крутились. То ли сами, то ли с человеческой помощью. Серёжка и Колька не захотели одеваться обратно: сказали, что будут как греки, только в трусах. Обменялись трусами, в знак вечной дружбы. Они забыли, что при нас не матерятся, и крыли матюгами всё, что видели. От этого было обидно, но очень смешно. На лоб что-то давило. Я посмотрела: бородавка. Я сегодня ужика трогала, безвинно убиенного. Вспомнила про ужика и расплакалась. Мишка меня успокаивал-баюкал, но от этого я ревела еще сильнее. Мне хотелось отрубить себе голову с этой образиной-бородавкой, с бородавкой, которая росла и росла и уже превратилась во вторую голову. Но я не успела: земля затряслась у меня под ногами, ушла из-под ног, у меня отобрали землю. Землетрясения в этих краях быть не могло, но видно, бородавка сдвинула логику вселенной. Кто ж меня замуж возьмет с такой бородавкой, думала я. Потом решилась, взяла складной ножик и хотела её с себя срезать.

Но всё думала: церковь устоит от этого землетрясения? Мы ходили с бабушкой в разрушенные церкви. Они пахли временем и были украшены выросшими на них верхушками веток, вместо куполов. Религия – это тоже искусство, одно из величайших в мире. А величайшее – верить. Трогаешь древние кирпичи, водишь пальцем по сколам, любишь эту опороченную людьми и временем, но непорочную по сути церквушку, кустарник-вместо-маковки, дыра в полу вместо Христа-на-кресте, уют и защита о трёх стенах. Любишь сильнее себя, но за что? Хорошесть вещи определяется по тому, что ты хочешь её много раз потрогать. Даже если только мысленно.

- А вот запах времени – это хорошо или плохо? – Говорю я.

 - Нового времени? – Говорит Гоша.

- Да какого угодно.

- Время можно душить – говорит Лена.

- Подушкой? – ржёт Мурзик.

- Духами, – тупит Лена.

- Духами трудно душить, - говорит Мурзик.

- Кажется, ты дебил.

- Вот те крест!

 - Богохульный дебил.

- Сука.

Мы смеёмся, а Лена начинает душить Серёжку. Тот не смотрит на меня, а потом они с Леной целуются.

Я опять вспоминаю про бородавку и думаю, что надо заразить бородавкой Ленку. Сергей не смотрит на меня из-за этой треклятой бородавки. Я подхожу к Лене и трусь о неё щекой. Она думает, что это игра, и втирает мне что-то в ответ. Амбар уже ходит ходуном от землетрясения. Я беру ножик, разрезаю свою голову, усекаю бородавку, усекаю главу, кладу в нашу единственную стопку – уже пустую, разливать нечего, предтеча пустоты более глубокой, да перед смертью и не надышишься – и подношу стопку Сергею. Сергей пьёт пустоту. Звёзды глаз Лены смотрят в Сергея, сливаются с глазами Сергея. Гоша встает в позы древнегреческих статуй. Светка кричит: «Я змей горыныч, у меня раздвоение личности и три головы, что в сумме дает пять, а пять – священное число…» Одна голова хорошо, а две лучше. – А голову ты дома не забыл? – вспоминаю я дурацкое учительское.

Тут я поняла, что это неправда, и очнулась. Учителя кого хочешь с небес на землю опустят. Такая у них работа: ловить порхающих высоко ребятишек. И трава им не помеха.

Но не суть. Все резко стало не сутью, и мы решили идти по домам. Мы были не в себе, но уже меньше не в себе. Вутёнок говорил, что от травы. Мишка – что трава в жизни его так не вставляла, так что это самогон палёный или коньяк.

В ночи мы возвращались к дому. Шли шатко, шли валко, в обнимку, но стыдно. Что-то было не так. Подойдя ближе, я увидела, что моего ясеня нет. Его спилили, на пеньке лежали бывшие качели, тоже распиленные на много мелких деревянных кусочков. Если бы я была поэтом, то я бы сказала, что на тысячу деревянных осколков распалось тогда моё сердце. Но если честно, тогда я просто на это посмотрела, присела на пенёк, а потом пошла к дому Николая. Обычно я побаиваюсь темноты, но тогда темнота скрывала меня от самой себя, всё вокруг пряталось от меня, и я чувствовала себя смелой.

**КУКЛА БАРБИ**

Я всегда рядом с Катей, никогда её не брошу, потому что она хорошая. В этом и есть предназначение игрушек: оставляют не они, а их, когда приходит срок.

Но в тот день, когда я увидела, что наш волшебный ясень умер, мне захотелось убежать далеко-далеко, на край земли, сесть на самый краешек, чтобы каждую секунду бояться упасть, а значит, снова захотеть жить.

Качели позволяли летать. Как без этого жить, я не очень понимала. Катя сидела на пеньке и не плакала, замерла только, будто бы перед броском. Шпана стояла рядом.

- Кто спилил-то? - спросил Женька.

- Николай, - сказала Катя.

– Сука ёбаный, - сказал Женька.

– Зачем ему дрова летом? – сказала Лена.

– Правильно сделал, - сказал Серёжка. Катя на него посмотрела. – Нехера каждый день часами на качелях зависать, не маленькая уже, - пояснил Серёжка.

- Какая тебе разница, - сказала Полина.

- Да потому что все городские постоянно не понятно кого из себя корчат, - сказал Серёжка.

- Не маленькая уже, - повторила Катя. - Ладно, расходимся.

И первой ушла в темноту, вниз с холма.

- Реветь пошла, – сказала Ленка.

- Что на него нашло, нормальный же мужик вроде, - сказал Вутёнок.

- Да может, это и не он, - сказал Мишка.- Пойдёмте по домам. Холод идёт, роса вон ползёт. Мне ещё батю домой загонять. Он с шести бухой бегает, с пустым чугунком, трёт его, придурок. Говорит, хочет вызвать самогонного джинна, чтобы больше ни копейки не отдать за пойло. Околеет вдруг, человек всё ж, хоть и скотина. Пошли уже.

- От «белочки не колеют».

- От всего колеют, если поднажать.

- А хер свой он не пробовал туда засунуть?

- Вот и весь сказ, хер напоказ – бабка моя любит повторять, - промурлыкал Мурзик.

- Сейчас на твоём попробуем – Мишка, безразлично так, но Вутёнок на всякий случай быстро его просканировал.

- А чугунок старый или новый?

 - Новый.

- Херово. Даже не сдашь.

- Тут до ближайшего приема тары километров пятнадцать, ты как из леса вышел, ей богу.

- Подари ему телефон с игрушками, - вдруг такой Жека, – моя мать уже полгода не пьёт. Алкаши наш дом стороной обходят. Всё шарики в ряд собирает и радуется, когда сама себя по очкам обгоняет, как дура. Я теперь засыпаю и просыпаюсь под это: чпок-чпок-чпок-тррр-чпок-чпок-чпок-тррр. Да и похуй. Главное ж – не пьёт, и глаза светятся.

- Адским огнём?

- Да хоть и адским, главное, не проспиртовывается.

- Я проспиртованных младенцев в Петербурге видела. Которые как бы недомладенцы, не до конца младенцы. – Лена.

- Ага. Нас всех в этот музей надо. На материале сэкономят. – Серый.

Пошёл ты нахуй, пошли уже. – Юдин.

Они все ушли, а я осталась лежать на пеньке. В обычный день я бы рассмеялась, но смех украли вместе с ясенем. Через пять минут Катя вернулась за мной.

**КАТЕРИНА**

Ты знаешь былину про Илью Муромца?

- Конечно. Русский богатырь.

- Он в сказках из седла не вылазит и всех спасает. То от соловья-разбойника, то от идолища. Он околел в итоге. Точнее, окаменел. Хотя одна фигня. Богатырь и спаситель, два в одном.

- И человек, преодолевший трудности со здоровьем.

В общем, ты знаешь, что Илья Муромец был метр семьдесят ростом?

- И что?

Я метр шестьдесят пять. Какого чёрта, богатырь с ноготок. Метр. Семьдесят.

- То есть с меня.

Ты метр семьдесят?

- Я метр семьдесят.

Прямо ровно?

- С моим сколиозом ровно не получится.

Ты спасал кого-нибудь в своей жизни?

- Было дело.

Расскажи.

- Одну девочку, которая…

Дай мне воды, пожалуйста. В горле пересохло.

- Так я фразу не закончил.

Я знаю, ты меня спасаешь. Но если я умру от жажды, тебе некого будет спасать.

- Катерина, ты такая фантазёрка.

Дай воды. Голова болит. А есть ещё сказки о любви. В одной из них – вот так: «Взял Иван топор и начал рассекать Марью Прекрасную на куски». И превратился Иванушка-дурачок в Ивана-дурака. Ну не верю я, что люди меняются.

**ПРАБАБУШКА ЛИЗА**

Все любят погоревать, поплакаться, русскую косу вкруг шеи обмотать. Худо стало – покрестись, помолись, душу выверни наизнанку, глядишь – и почистишь. День прошёл – и хорошо. К жизни надо с душой, с терпением, с оглядкой на прошлое. Важно знать про своих прародных. Праистории. Ты рождаешься из них, состоишь из них, после них, взамен их. Из их снов, молитв и ночной ласки. Из их любви и нелюбви. А кресты… А что кресты — неси себе и неси.

**ЛУКЕРЬЯ**

Сидела в ту ночь в сенях, когда услыхала по шагам: он домой идёт, топот злой. В дурном расположении духа, значит. Дух повелевает им, что слугой. Я уж и в бутыль его ловила, в печку бросала. Да много там демонов: всех не ушлёшь.

Что так поздно идёт-то, боженька знает. В городе, что ль, что приключилось. Он на рынке сегодня бураками торговал. Он торгует ладно. Цену превысокую пишет, а потом сбавляет, будто нехотя. Людям радость, нам копеечка. Коля мне с каждой поездки по пятьдесят тысяч рублей даёт – на конфеты и газировку. Только в город возит редко, вон и копятся эти рубли. Под берёзой прячу на задах: тётка Хронька сказала, мол, берёза прибавляет деньги, которыми ты корни её питаешь. Матушка-природа так о нас заботится, сказала. А я всем рада, кто обо мне заботится. Матки мне не хватает.

Улетели куда-то мои мысли, а шаг всё ближе. Вскочила – на стол еду кладу. Муху на столе тряпкой убила: откуда только в такую темень взялась. Пока в печку лезла, время убежало. Повернулась ко столу, а он с ножом сидит, молчком, в упор на меня глядит. Когда молчит – чёрный знак, значит, бить будет. Он не нарочно, в него просто дьявол селится в такие минуты. Он сам мне говорил, что не помнит ничего, кроме мути в глазах и жути в ушах. Он мне говорил, что это потому, что меня любит, и дико ему дурно каждый раз мыслить, что ребёночка мне другой сделал, что внутри меня другой был, а значит, я не вся его, внутри не его. А мне всё кажется, за эти годы я вся его стала. Порченая, а его.

Я думаю – дай хитростью возьму, и ему ласково: «Колюшка, я сегодня и твою долю бураков выкопала». Он говорит: «Кто тебе разрешил моё трогать?» Вдруг вдарил меня в живот рукоятью ножа, я закричать не сдюжила даже. Пала на колени перед ним, ртом воздух хватаю и всё думаю: за что я не теряю сознание? В телевизоре они всегда сознание теряют. Не желаю ничего видеть. Желаю, чтобы стало не больно. Пусть тьма, по темечку. Я упала, ничком, собираюсь кричать. Молчу, молчу, молчу. Всегда молчу. Люди падают, что яблоки падают. Черноты вокруг всё больше. Матка моя зубы чернила, чтобы замуж выйти. Надо было и мне чернить. Больше черноты внутри - меньше снаружи. Батюшки мои светы, не лупи меня больше, не отымай у меня меня.

Всё в голове бунтуется. Он меня по полу валяет. Взял и взрезал жилки ножом. Взвыла я, до небес и до ада. Врата ада в моей избушке – Боженька, спаси и сохрани.

А потом я выхватила у него нож и воткнула остриём в сердце. Со всей силы. Это в меня его дьявол перешёл, значит, потому что сама я туман лишь помню. Жили-были Лукерья с Николаем.

**КАТЕРИНА**

Запыхалась, пока бежала. В голове ярость. Ярость – это такие точки, которые залетают через рот и начинают жечь тело. Урод тупоголовый, как он мог срубить качели. Добежала и начала бить кулаком по гальке. Била, била, била, била, пока не стало так больно, что я очнулась.

Нет, это в голове и не ярость, может. Это голова болит. Вся левая сторона потихоньку разгорается и уже тошнота вползает, я пытаюсь выплюнуть левый глаз и горло, а живот в горле, потому не выходит. Тошнит от всего, а прежде – от собственного запаха. Мама в Москве водила меня к врачу, он сказал, это мигрень. Таблеток у меня с собой нет. Кто выдумал эту боль. Они дома, в маминой аптечке, ночью их и не сыщешь, да и некогда мне искать. Я буду терпеть. Врач в Москве говорил, что мигрень терпеть нельзя. Местные говорят, что все московские – неженки и нытики. Боль идёт, уж слышен стук. «Всё у нас в голове», - вещает моя мама. Вещая мама. Она считает, что мигрень – от нервов. А прабабка моя - что от дьявола. Все они правы. Кто сказал, что нервы – не от дьявола. Я сейчас ненавижу Николая так, что нервы мои – клубок змей. Шевелятся и пускают яд. Отравляю саму себя, а так нельзя. Это голова от яда разболелась.

Сплюнула, но сухой плевок, ничего и не вышло. Боль тем временем подбирает тебя всю и начинает виском швырять на невидимые камни, в глаз засаживает штырь, бьёт по голове. Бьёт, бьёт, бьёт. Мамочка миа. Охереть, но терпеть. Они ж все под этим лозунгом здесь живут. Да только как. Не привыкла я терпеть, мама мне вечно над ухом жужжит. Удар слева, глаз удерживается на месте, чудо да и только, самое больное чудо в моей жизни, я ложусь на землю и закрываю глаза: так надёжнее. Земля всегда примет тебя таким, какой ты есть. Ну или каким ты был.

Забытьё. Очнулась. Пробралась за калитку, а там в избу. Приоткрыла дверь и стала глядеть. Одним глазом – второй отказывается. Увидела маленькую Лушку и огромного Николая. Его тень была в сто раз больше его самого: игры света и разума. Я в театре теней.

Тень Николая тенью ножа ударила тень жены его в живот. Это была кульминация. Знал ли он, за что её бил? О чём думал в тот момент? О себе? О Лушке? О своей жизни? О своей злости? О туповатом ноже? Должен же он был о чём-то думать. Тени плясали, огонь скрипел в печке – саундтрек что надо, нож с глухим стоном упал на пол. Или стон тот был мой. А может, стонала Лушка. Перемешались стоны с тенями, верх с низом, крестик с цепочкой, преступление с наказанием.

Лушка упала к его ногам, а я согнулась впополам. А значит, стала меньше вполовину. Без половины тела и без умения летать. Я ненавидела Николая. Моя рука разжалась, и барби больно стукнулась об пол. Её пришитая кисть отвалилась: плохой из меня врач.

Лушечка потеряла сознание, он подтащил её к ведру с водой и окунул лицом. Она билась, как рыбка, видно, интуитивно, а потом обмякла, вспомнив, кто она. Только тогда вытащил, как тряпочку кинул. Он продолжил её бить: рогачом, ведром, рукояткой ножа. «Что ты такая грустная?» - однажды спросила я Лушечку, встретив её у колодца. Покачала головой: то ли задумалась, то ли застеснялась. «Вытекла вся», - нараспев сказала мне тогда Луша. «Жизнь течёт, по капле из нас». Но это была не жизнь, просто Лушка необразованная.

Николай ударил её ногой в живот, шесть, восемь, тысячу раз, как в футбол решил сыграть, и я стала тенью. Тень в театре теней. Свет разогнал бы тот театр, но до света ещё целая ночь, и её не обойдёшь. Заснуть бы сейчас. Актёр театра теней – всего лишь тень, и выступает только ночью. Ночью он может жить, солнечный свет бьёт его, ранит его, уничтожает. В следующую ночь он возрождается из серого пепла. Мою голову посыпали этим пеплом. Моя голова стала тенью: что-то было, чего-то не было.

Только руки отказались быть тенью: я порезала палец тенью ножа, подорожник увял в крови, и теперь у меня шрам. На указательном пальце правой руки. Кровиночка моя, сказала бы бабушка, вся состоящая из моего детства, с самыми тёплыми, самыми шершавыми руками в мире.

**БАБУШКА ФРОСЯ**

Что-то ёкнуло у меня в сердце. Не инфаркт, а чувство. Пошла её искать. Ночами я обычно не шастаю: это дело молодое. Посреди ночи, прямо во тьму шагнула. Прошла дом Агафьи и Агафона – изба спит, а с ней и люди. Дед Харя новый забор поставил: каждый год ставит, а по зиме запивает и рубит с плеча. «Харитон ошалел», – тогда говорим мы и прячемся по домам. Они у нас целые, из цельного сруба. Три дня и три ночи всё крушит, а потом – снова овца невинная. Не верит нам, не верит своим ушам, что все это он погромил, всё это его старых рук дело. Не злодей, а вот же, сам себе зло творит. Прошла берёзовые посадки – внучки всё удивляются берёзовому соку, я в Москве «Макдоналдсу» их дивилась: жуёшь, что резину, а вкусно. Деду привезла, он понюхал гамбургер их и котам отдал. Но «кока-колу» выпил и долго поминал.

Иду по кривой тропинке, чтобы побыстрее дойти до дома Николая: когда ты старый, сердце чует всё. На износе всё острее, кроме мыслей. Ищи, ищи, свищи, свищи – бестолковое это дело, если бессердечно. И в любви, и в ненависти.

Подтянулась к окну – там Николай опять учит Лушку. Удар.

Переступила порог – в сенях барби валяется. Сердце стук-стук, и ногами стучу, будто во мне пуд веса. Зашла в горницу, вспыхнуло моё солнышко и погасло. Видела я, что Катя подобрала нож и ударила Николая в сердце, со всей силы, своими тоненькими ручками, своими детскими ладошками. Не уберегла свою девочку. Удар.

Ноги подкосились. Осела, опала, голова на пол легла. Пол прямой, для того и нужен, чтоб опору давать. Пытаюсь рыдать, кричать – не плачется, не кричится. Пытаюсь рыдать, кричать. Удар.

Сжалась в комок, как колобок, и покатилась, не в силах разжаться. Через двор, за забор, по тропинке, за село, под луной, сквозь поля, колобок круглый, раз покатился, сам уже не остановится. Дорожная нитка сходит на нет. Был колобок, была крошка, была точка – горизонт её съел. А Катерина осталась.

**ПРАБАБКА ЛИЗА**

Откуда мне знать, кто убил Николая. Спросите Катерину. Меня там не было. Я уже давно умерла.

**КУКЛА БАРБИ**

Я кукла, я не могу разговаривать, у меня рот пластиковый.

**КАТЕРИНА**

Это как из древних сказок: надо идти и идти, и дорога куда-нибудь тебя выведет. Только идти надо долго. Какой из тебя путник, если ты не устал. Состариться в пути не мешало бы. Идёт дорога, изворачивается, мои мысли здесь заканчиваются. Или не заканчиваются? Иногда так хочется, чтобы заканчивались. Чтобы не было войны внутри тебя. Лишь бы не было войны — это повторяла моя бабушка, эхом вторила каждая баба деревни, втихую думал каждый мужик. Лишь бы не было войны: в жизни, в голове. Я устала от войны. Я её прошла всю: я тысячи раз умирала и тысячи раз возрождалась.

Когда я увидела мёртвого Николая, сразу подумала: Лушка свободна. Была Лукерья, жил Николай. Нет Николая – заживёт Лукерья. Это плохо, знаю, но именно так я подумала. Потому что последние месяцы только и представляла себе по ночам, как он её избивает, руками, рогачом, ремнём, кочергой. Он ударил её под дых тупой рукояткой ножа со всей силы – просто так. Где же справедливость?

Николай не двигался и очень был похож на справедливость. От крови, тёкшей из него, меня вырвало. Мои ладони были в крови.

Я её от рабства спасла, а она на меня так растерянно посмотрела и лепечет: «Он же меня спас». Что за херь? Дура, баба, зверьё какое-то. Стокгольмский синдром какой-то.

Он завернул меня в свитер. Лепечет Лушка. Никто не заворачивал меня в свитер. Лепечет Лушка. Он ребёнка моего от смерти спас. Лепечет Лушка, завывает. Он мне сорочки расшитые дарил. Тогда мой мир перевернулся. Поворотись избушка к лесу задом, ко мне передом. Она говорит, а мой мир перевернулся. Повернись, избушка, к лесу задом, ко мне передом, но не переворачивайся. Иди с богом или к чёрту, Лушка, прощай.

Я пошла домой и хотела уткнуться в маму носом. Мама противно пахла. Но мама не может пахнуть плохо, значит, запах шёл от меня?

Я пошла, куда глаза глядели. Бабушка часто повторяла: в ногах правды нет. Зачем кому-то эта правда? Сказки интереснее. Идёшь, мечтаешь о чём-то. Превращаешься в вымышленного персонажа. Мечты лучше, чем любовь. Мечты у тебя всегда есть. Когда я хожу, я прихожу в себя.

- А любовь?

Не было же её у древних.

- С чего ты взяла?

Моя деревня недалеко ушла от первобытности. Там не было любви. Ни в одном доме не нашла.

- В окна заглядывала?

Даже в печку. Думала – вдруг сгорела. Но нет её. Как не было, так и нет.

- Может, ты её не узнала?

Может. Я же ещё не до конца взрослая. Я шла и думала.

Я не привыкла к площадям, я привыкла к дорогам. Площадь не дарит чувства опасности, но и приключение тоже не в силах дать. Она вся как на ладони: круглая или квадратная, проглядываемая насквозь, но ветер там не гуляет. Дороги – это грёзы, сны, которые выводят к самым неожиданным местам. А наверху – облака бегут. Все русские дороги были по-христиански милосердны ко мне. Я ходила по ним и парила в облаках.

Шорохи позади: вдруг нападут? Тень маячит. Волк надрывается. Куст шевелится и преображается в чудище из детства. Русалка хвостом болтает под мостом. Человек маячит: убийца, не убийца? Вор или не вор? Собака хромает. Шавочкин ты мой, бедняжечкин, все тебя бросили, один ты на всём свете.

Они доверчивые, бродячие деревенские собаки, а на них всем плевать. Жизнь тяжёлая – самим бы выжить. Погладить – не погладить? К ласке непривыкшая, глаза добрейшие. Добрейшей души человек ты, собака.

Вечный выбор. Направо повернёшь - труп гусёнка найдешь. Налево повернёшь – не туда уйдёшь. Прямо пойдёшь – да кому когда интересно ходить по прямой, если только игрушечным бычкам из детства, самостоятельная ходьба которых целую жизнь назад казалась магией. По диагонали надо, вопреки, через поле, через пахоту, через реки, через горы, за тридевять земель судьбу испытывать. Не убежишь, так обманешь. Измучаюсь, устану, семь кругов пройду, до тридевятого царства не дойду, семь потов сойдёт, зато мысли все с ними стекут в землю, там и будут похоронены, оттуда и возродятся по весне. Как там в старых присказках? Одна-одинёшенька в чистом поле. Чудо-поле избавляющее.

- Катя, ты ведь боишься своих мыслей, верно?

Я их не понимаю. Они все переплелись, понимаешь? Они цеплялись за всё, в них вживлялось всё. Какие-то заколдованные подворотни. Каждый тянул на себя, к себе: каждому нужен друг. Восьмидесятые, девяностые, прошлый век. Мириады историй, почти все с плохим концом. Умирающие восьмидесятые, ревущие от страха девяностые. Перелом годов, тысячелетий. Перелом открытый, с кровью, плохо заживающий. Трупы на киевском вокзале. Москва, одна деревня, вторая, развод всех соседей по очереди, изнасилованная рэкетирами соседка, найденные в доме презервативы, растерянные родители: как дальше жить. Бабушка: пей молоко, внученька, в нём здоровье. Дедушка, трясущийся от войны: хватит, не буду ничего рассказывать. Уже полвека прошло, а его трясёт. Воры девяностых, стаскивающие лисьи шапки с коммунистических мужчин, тем самым превращая их в мужчин будущего: новых мужиков, которым одинаковые лисьи шапки ни к чему. Дышать трудно. Трущобы. То ли времени, то ли пространства. Трущобы историй, когда все люди вокруг были не на задворках – на задворочках. Окраинная многоэтажка – задворки мира, конец света. Деревня – задворки мира и его начало. Люди, выброшенные на помойку. Переплетённые разговоры, судьбы на парапете, толкнёшь – рассыпятся в прах, не успев умереть, превратятся в живых мертвецов - парампампам - в тысячи историй. Тысяча, и всегда одна – та самая, которая бьёт на повал, добивает тупым предметом. Из них можно было бы начать плести книгу – и не закончить. Их можно было бы выкинуть на помойку – и никогда не забыть. Что делать с этой памятью? Спасать ту одну историю? Тысячи спасти невозможно, одну – возможно. Вся суть – в единицах. Есть один, и больше ничего нет.

– Но тебя, как мы выяснили, много?

Я одна.

- Мыслями надо часто делиться, тогда их будет легче понять.

Это было бы тяжело. Женщине нельзя носить ничего тяжёлого, даже крест. Надо охранять женский мир. У человека должно быть много миров, потому что если один из них разрушится, прыгаешь не глядя в другой – и всё, тебе хорошо.

- А собрать рухнувший мир заново?

Что ты, это ж ювелирная работа, я на ювелира не училась.

Я шла, шаг за шагом, мысль за мыслью, минута за минутой. Меня преследовали. Одна и та же мысль, которая слилась с моей тенью: почему так сильно рыдала Лушечка, почему причитала над трупом того, кто её бил.

- Что ты ждала? Что она скажет тебе спасибо?

Ну.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА ЛЕНА**

В то лето, лето целого века, лето целой жизни и смерти, мы так ничего и не поняли.

Николай умер чёрной ночью, в убийстве обвинили Катю Короткову и Лушку Агапову. Обе не проронили ни слова, обе плакали, непонятно было всё. Лушка была избита до полусмерти, даже в этом она не достигла ста процентов. У Катерины была дыра на пальце, она её не замечала, пока её в больницу не увезли. Удивительно, но крови из обеих вытекло поровну.

Серёжка повесится позже, по осени - в ноябре, когда выйдет из тюрьмы, отсидев два месяца за кражу. Стащил в конце августа выручку у сельпо. Выйдет, встретится с друзьями, каждому скажет «как хорошо на свободе», а с наступлением ночи поцелует поддатую мать и шлюху-сестру, пойдёт в амбар и повесится. Следов алкоголя в крови не обнаружено – напишут в полицейском протоколе. Затерялся тот след, днём с огнём не сыщешь, а уж ночью и подавно. Так странно, когда ты помнишь человека маленьким, потом злишься на него, а потом видишь его подвешенным да повешенным. Моя память иногда такое выкидывает. На том и стоим.

**ГЛАВА II**

**КАТЕРИНА**

Прилетел орёл домой, солнце скрылось за горой, ветер после трёх ночей мчится к матери своей… Прилетел орёл домой, солнце скрылось за горой, ветер после трёх ночей мчится к матери своей… Прилетел орёл домой, солнце скрылось за горой, ветер после трёх ночей…всегда ночей. Почему врач так долго говорит с мамой? Мне кажется, она за это время всю жизнь мою могла пересказать, и свою заодно.

**ПСИХИАТР**

– Анна Ивановна, результат у моего общения с Катей есть. Разговор нам с вами предстоит долгий.

- Я могу открыть окно? Душно здесь.

- Конечно.

- Я вас слушаю.

- Сначала о самом важном. Именно ваша Катя совершила убийство соседки по деревне.

- Слушайте...

- Это потому…

- В полиции тогда, сразу после убийства, её проверяли на детекторе. Он показал нет. Вы знаете.

- Я знаю. Детектор не врал.

- Зачем же вы мне врёте?

- У вашей дочки диссоциативное расстройство. В народе его называет раздвоением личности.

- Это неправда.

 - Но у неё не две личности, а больше.

- Ну не чудовище же она. Обычный ребёнок, эмоциональная просто.

- Я насчитал шесть. Причём, что интересно, почти все эти личности реальные. Ваша дочка полностью отождествляет себя с людьми, которых хорошо знает. Всё смешалось в её голове: люди, время, пространство, и разделилось на определённые сегменты.

- Причём тут сегменты? Какие сегменты? Какие у ребёнка могут быть сегменты?

 - У Кати сильное женское начало. Она преображается только в женщин, игрушечных и настоящих, живых и умерших. Этакие куски личностей.

- Что за чертовщина? Каких игрушечных женщин?

- У неё есть личность самой себя, вас, её бабушки и прабабушки, куклы, с которой она играла в детстве, и Лукерьи Агаповой.

- Жены Николая?

- Жены Николая.

- Но наша прабабушка умерла. Ещё в шестидесятых.

- О ней много говорили в деревне?

- Много. Она дожила до ста лет, потом три дня полежала на печи и умерла. Всегда улыбалась. Человек-огонь такой, знаете. Даже из сломанной руки в девяносто два года сделала событие для всей деревни: ходила и хвасталась гипсом. Так расхвасталась, что завистница главная её, Ольга Вутц (когда-то поле не поделили) сломала себе руку нарочно, упав с печи. Второй перелом взбудоражил не меньше первого, по сеням разговоров-то было. Мы с Катей каждый год на могилку баб Лизы ходим, конфеты приносим. Любила она сладкое, и жизнь любила, и…

- Анна Ивановна, вы не волнуйтесь.

- Я не волнуюсь. Но полиция же сняла все обвинения. И вот вы говорите… Про личности какие-то. Она нормальная. Она что, права на личности не имеет? Почему именно эти личности?

- Я не знаю. Могу предположить, что её психика выбирает либо хорошо изученных персонажей, либо тех, кто сильно поразил её. Что интересует меня как врача: она ни разу не взяла себе личность своей младшей сестры. Что радует – её личность, Катерины, преобладает над остальными. То есть организм помнит, кто главный. У неё вообще интересный организм. Он помнит чёртову уйму мелочей, ему не нужных, типа ценника на колбасу и убитых тараканов на кухне. Подобное свойственно всем людям, но её мозг перешагнул за границы разумного.

- Какой колбасы?

- Дорогой, в обсыпке, которую вы, как я понял, часто покупали или покупаете.

- Бог ты мой! Она столько раз просила подешевле покупать, я никак не могла взять в толк, зачем. Очень я люблю эту колбасу в обсыпке. Как попробовала в девяностых впервые, так и покупаю. Мелочи какие, колбаса. Ну не из-за колбасы же она заболела?

- Нет, конечно. Может, слишком много сред для изначально слабой психики, может, ещё что. Человечек, видно, хрупкий, не перестроился при взрослении. Не удалась перестройка. Я уже вам сказал: она впитала в себя каждую историю, каждую эмоцию – каждую, понимаете. Она помнит каждый ваш разговор с мужем на кухне, каждый шёпот за спиной, каждую сказку и каждую правду. Она как магнитофон, который можно слушать бесконечно. Истории из прошлого и будущего, городские и деревенские, плохие и хорошие, добрые и смертельно опасные, маленькие и взрослые. Слишком много историй для одного человека. Слишком много разных миров. Слишком много хаоса.

- Мы же обычная семья. У нас никто не болеет.

- Её случай по-своему уникален, и я буду работать над ним дальше. Пока ясно только одно: Катя вообразила себя Лукерьей во время ссоры той с Николаем, схватила нож и нанесла единственный удар, которого, к несчастью, было достаточно.

- Николай был очень крепким мужчиной. Ребёнок с ним не справился бы. Сами подумайте.

- В состоянии аффекта я встречал и не такие убийства. Поймите одно: Катя сама, сидя до вас на этом кресле, прямо при мне превращалась то в Лукерью – и говорила словами Лукерьи, то в вас – и говорила с вашей мимикой, жестами, вашими словечками, то в свою прабабку – и тогда с нежностью вспоминала конфеты. И так далее.

- Но зачем она убила?

- Катерина взяла в руки нож, когда была в роли избиваемой Лукерьи. Ей казалось, что она – Лушка, что бьют – её. Она ответила, как могла. Настоящая Лушка не смогла бы убить. А Катерина в роли Лушки – смогла. Революционерка ваша Катя.

- Поэтому детектор лжи ничего не показал?

- Да. На момент проверки на детекторе она была в роли Катерины, она искренне говорила, что не убивала.

- Как вы догадались про… ну, то, что она не одна.

- Я же врач. Я её слушал часами и днями. И она, погружаясь в свои истории, не устояла и начала менять личности. Как ящерка шкурку.

- Как ящерка шкурку…

- Она даже слова деревенские запомнила, в речь тех или иных персонажей вставляет.

- Они не персонажи, они – люди.

- Все люди – персонажи чьей-то истории.

- Доктор, не путайте меня.

- Вы не замечали, что у неё почерк меняется?

– Она всегда была разносторонней личностью. Я ей горжусь. Она, знаете, и правой, и левой рукой умеет писать.

- Анна Ивановна, вам нужно сейчас поговорить с ней. Она вас ждёт в соседнем кабинете.

- Я попробую. Но с разговорами по душам плохо у нас, не сложилось. Она замкнутая очень. Я к ней не лезу особо, да ей это и не надо. Как залезу, она на меня злится. Я её люблю больше себя, а как подойти поближе – не знаю. Это я виновата, это из-за меня всё? Из-за того, что я её не слушала?

- Нет. Её психика восстала. Против чего – другой вопрос.

- Что делать?

- Лечить.

- Это излечимо?

- Скажем так, это поправимо. Будем верить.

- Я не верующая.

- Я тоже.

- Но ради неё я стану.

- Бог вам в помощь.

- Деревня для неё всё?

- Деревня всё.

Ольга Рафаева